



ЛИДИЯ ЧАРСКАЯ

# ЖЕЛАННЫЙ ЦАРЬ



ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ

ЛИДИЯ ЧАРСКАЯ • ЖЕЛАННЫЙ ЦАРЬ

2



Лидия Чарская

# ЖЕЛАННЫЙ ЦАРЬ

П О В Е С Т Ь  
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА



С РИСУНКАМИ

Том второй



РУССКАЯ  
МИССИЯ

МОСКВА 2006

Приход храма Святого Духа сошествия

*Эта книга в увлекательной приключенческой форме повествует о событиях, предшествующих воцарению юного государя Михаила Романова.*

*В истории государства Российского был уникальный период, когда сложилась симфония верховной власти — духовной и светской и юный царь Михаил правил державой вместе со своим отцом, Патриархом Филаретом.*

*Но до избрания на престол в 1613 году юного Михаила его семья вместе с Русью православной пережила тяжкий период Смутного времени.*

*С тех пор прошло без малого четыреста лет, но и сегодня, в новое смутное время, события, происходящие на нашей Русской земле, созвучны тем, далеким...*

**Владимир Зоберн**

ISBN 5-98891-030-0 Л. Чарская. Полное собрание сочинений.

ISBN 5-98891-007-6 Том 2. Желанный царь.

© Литературная обработка: Владимир Зоберн

© Набор, верстка, иллюстрации,

подготовка текста: РУССКАЯ МИССИЯ, 2006

© Редактор Олег Зоберн

© Художник Галина Бочарова и Тарас Бочаров

1  
ЧАСТЬ

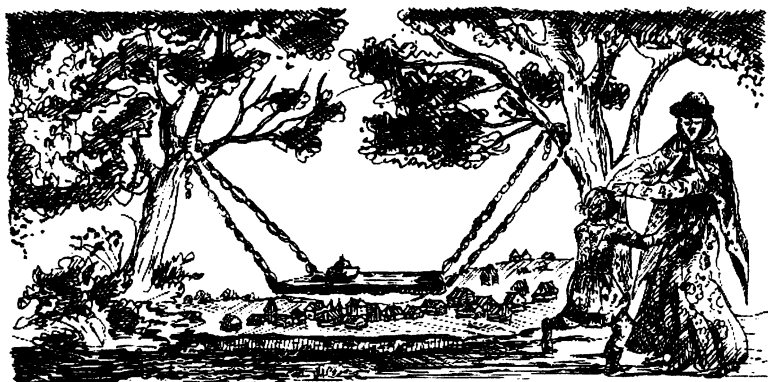




Только союзные с царством Божиим царства земные могут быть тверды и истинно благополучны.

И не посвященная в тайны судеб Божиих история на сие отвечает, что благочестие, хотя иногда недовольно просвещенное, но искреннее, правота и доброта нравов возвышают и облачают победоносною силою дух народа; что, напротив того, уменьшение в народе благочестия, повреждение нравов, преобладание пороков разрушают единодушие, ослабляют верность и мужество, похищают у законов силу и почитаемые средствами общественного благоустройства образованность и просвещение обращают в орудия дерзости, беспорядка и разрушения.

*Святитель Филарет,  
митрополит Московский (1783-1867)*



## НЕВИННО ОСУЖДЕННЫЕ

### 1

**В**есна в 1601 году стояла ранняя и теплая. Яркое солнце заглянуло поздним весенним утром и в огромный, густо разросшийся сад Романовского подворья в центре Москвы, по соседству с Чудовом и Вознесенским монастырями. Клейкие листочки уже появились на липах и кленах, на березах и черемухе; деревья сада покрывались зелеными шапками.

Там, где два древних дуба протягивали друг другу свои мощные ветви, висела широкая доска качелей. Сенные девушки с шушуканьем и смехом теснились вокруг нее. На доске, по обе стороны дородной мамушки-пестуны, сидели двое детей. Восьмилетняя девочка, русокудрая, голубоглазая,

в атласном, богато расшитом по голубому полю шелками и жемчугом летнике, и пятилетний мальчик, кудрявый, темноглазый, с кроткой и ясной улыбкой, в нарядном, отделанном бурмицкими зернами по вороту и запястьям кафтане-однорядке, в щегольских сафьяновых сапожках и в богатой шапке поверх мягких темно-русых кудрей. Две девушки, одна рослая, статная шестнадцатилетняя красавица в дорогом летнике пунцового шелка, в легком, подбитом камнями девичьем венце с пестрыми лентами, спускавшимися чуть ли не до пят наравне с тяжелой русой косой, стояла на одном конце качелей, другая, судя по скромной одежде — сенная девушка, на другом.

С веселым смехом они раскачивали доску.

— Ай! Побойся ты Бога, боярышня Настасья Никитична, — причитала мамушка, — уморишь, как есть уморишь и боярчат — племяшек своих, да и меня, верную холопку... Ой, буде! Богом тебя молю, боярышня! Ой, помру! Остановись, Христа ради!

Проказница Настасья Никитична залилась звонким смехом, а за нею засмеялись и детки, Таня с Мишей.

— И не стыдно тебе бояться, мамушка? — сказала она, улыбаясь. — Качели не струг на озере, не потонешь.

— И то — не потонешь, госпожа мамушка! — тихонько поддакнули сенные девушки, побаиваясь, однако, громко смеяться над нянькой — кормилицей маленьких боярчат, главной холопкой боярского женского терема.

— Не потонут, конечно, а зашибиться все же могут Танюша с Мишенькой... Да буде же, буде, боярышня! Того и гляди перевернется доска. Какой ответ тогда давать мне боярину Федору Никитичу да боярыне Ксении Ивановне? — не унималась мамушка, прижимая к себе обоих детей.

— Ай да Кондратьевна! Небось за боярчика своего да за боярышню дрожмя дрожись, а обо мне, горемычной, и не кручинишься! А поди и я не из воска слеплена, упаду, зашибусь вас всех не менее! — смеялась Настасья Никитична, к немалой потехе обеих деток, бесстрашно поглядывавших на быстрые взмахи качельной доски.

— Ну, буде! Полдничать скоро позовут, — решительно заявила Настя и, взметнувшись еще раз под самый шатер высоких дубов, ловко спрыгнула наземь, удерживая качели. Потом неожиданно подбежала ко все еще не успокоившейся мамушке, ухватила детей за руки и стрелою помчалась с ними через зеленую лужайку.

— Лови нас, мамушка! — звонко крикнула она.

— Ишь, затейница! Ишь, проказница! — заворчала мамушка, семеня за ними своей утиной походкой вперевалячку, в то время как сенные девушки тихонько фыркали, закрываясь узорчатыми рукавами сарафанов.

Они бы и сами с наслаждением потешились по примеру их общей любимицы, боярышни Настасьи Никитичны, да строгие глаза Кондратьевны, не дававшей поблажки никому из меньшей холопской братии, невольно приковывали их к месту.

Поневоле приходилось сдерживать себя и чинно ступать по тропинке, завистливо поглядывая вслед убежавшим.

Вот они завернули за деревья, вот мелькнул яркий летник боярышни, вот взметнулись пестрые ленты ее девичьего венца, и молоденькая проказница вместе с детками-племянниками скрылась за смородиновыми и малиновыми кустами, разросшимися целым лесом в дальнем конце огромного романовского сада.

— Ау! Ау! Ищите нас! — послышались оттуда звонкие голоса Настасьи Никитичны, Тани и Миши.

— Ах, как тут хорошо на воле, в этом зеленом уголке!

И Настя бросилась на молодую весеннюю травку, увлекая за собою детей.

Солнце горячими лучами проникало в это тихое царство зелени. Кузнечики весело трещали в свежей мураве. Пестрые бабочки порхали над белыми нежными подснежниками. А над высоким частоколом виднелись золотые маковки Чудова монастыря.

— Ай да и славно же здесь, племяши! Уж так-то славно да привольно, что и сказать нельзя! — И боярышня в избытке чувств обняла и притянула к себе детей. Те ластились к тетушке, как котята. Они любили веселую красавицу Настю, бедовую на потешные выдумки и на всякие игры, «красное солнышко» романовских палат, как прозвали ее на подворье.

Но вот насторожилась Настя. До ушей ее долетели чья-то приглушенная речь и шорох шагов по ту сторону частокола, к которому прилегали строения Чудова монастыря. Настя, среди однообразной жизни в тереме, жадно ловила новые впечатления, доходившие до нее извне. Поэтому, приложив палец к губам и наскоро шепнув племянникам: «Тише! Смирно сидите, детушки!» — неслышно подбежала к частоколу.

Здесь находилась небольшая земляная лавочка-насыпь в виде приступки. На нее встала боярышня и, приложив ухо к небольшому отверстию между зубьями частокола, замерла, снедаемая любопытством.

Сначала слов не было слышно. Раздавались только тихий шелест раздвигаемых кустов за забором да осторожные шаги. Но вот странно знакомый голос произнес тихо:

— Здесь побеседуем, друже. Место пустынное. Ни единая душа не услышит. За частоколом дальняя часть сада бояр Романовых. Заросли ягодные. Туда никто, пока ягода не поспеет, и не заглядывает. Мне это доподлинно ведомо, потому что я, восемь годов тому будет, и в саду этом, и во дворе каждый день свой человек был. От боярина князя Черкасского, Бориса, меня здешний боярин взял в холопы, потому книжной грамоте я зело приучен...

«Кто это?» — Настя поднялась на цыпочки, заглянула за высокий частокол.

Но, кроме черной монашеской скуфьи и низкой круглой шапки, какие носят молодые дворяне да дети боярские, она ничего не могла разглядеть.

«Один чернец, другой мирянин!» — подумала девушка и приготовилась внимательно слушать того, чей голос казался ей знакомым. Ведь если он служил здесь, на подворье у ее брата, боярина Федора Никитича Романова, стало быть, и голос его мог запомниться ей.

Это обстоятельство, однако, мало заинтересовало Настю. Гораздо более поразило ее то, что говорил второй собеседник:

— Потерпи малость, скоро наступит время, пробьет твой час, и сбросишь с плеч своих ты сию убогую власяницу и облечешься в виссон и пурпур, приличествующие званию твоему.

— Наступит время! Пробьет мой час! Да когда же, когда, друже! — прервал его собеседник. — До кой поры проклятый убийца все еще будет царствовать и губить людей, верных слуг отца моего? Где Бельский Богдан? В ссылке. Где Мстиславский? Погиб, помер по милости того же Бориса... Все верные слуги покойного отца и брата Федора поперек дороги ему стали... И не будь у меня добрых друзей, не приспей они в Углич вовремя, быть мне зарезанному вместо поповского сына, погребенного под именем Дмитрия-царевича... И еще много загубит Борис невинных, прежде чем пробьет час вступить мне, прирожденному царевичу, на прародительский престол.

— Потерпи, царевич. Дай покончить с делами, подготовить людей за рубежом, где до поры до времени тебе укрыться придется... А там соберутся доброхотники, державные твои, и открыто пойдешь ты во главе собранных дружин добывать престол московский. Верь, царевич... Денно и ночью пекутся друзья твои о тебе... Денно и ночью трудятся во славу твою, законного царевича Дмитрия...

«Царевича Димитрия! — недоумевала Настя. — Откуда взялся он?» Знает она, Настя, одного законного и прирожденного царевича, сына царя Бориса, юного Федора, которому, как и царю Борису, служат ее братья, ближние бояре Романовы...

Но то Федор, а это Димитрий! И какому царю грозит он проклятием? И на какой престол сулят посадить незнакомца его приспешники? Да и мыслимое ли это дело, чтобы простому холопу или чернецу сделаться царем?

Девушка совсем растерялась.

Вот снова послышался знакомый голос за частоколом:

— Семен Годунов, ведомо мне, рвет и мечет в бессильной злобе на родичей моих, на бояр Романовых. Простить не может, что Федор Никитич из бояр боярин, в думе ближе всех заседает к Борису, да Александр Никитич из окольничих в бояре назван, а он царев дядя, с коих пор в окольничих ходит... Да и романовская казна не дает покоя годуновцам. Того и гляди под опалу подведут моих бояр!.

Последние слова словно ножом полоснули по сердцу Насти. Она пошатнулась от волнения, схватилась за острые колья забора, но не удержалась и с легким шорохом спрыгнула на землю.

В тот же миг прервалась беседа за частоколом и послышались поспешно удаляющиеся шаги.

Кинулась к детям боярышня и стала торопить их домой.

— Идем, идем, детушки! Небось мамушка Василиса Кондратьевна натерпелась страху, нас ищущи. Поспешаем, ребятушки! Гляньте-ка, и солнышко высоко стало... Как раз и полдничать время! Ау, мамушка! Ау, девушки!

— Ау-ау! — послышалось в ответ из густой заросли смородиновых и малиновых кустов, и через минуту-другую показалась пестрая, шитая шелками кика мамушки и замелькали сарафаны девушек, открывших наконец убежище своих молодых господ.

И гурьбою, подхватив на руки боярчат, все двинулись к дому.

## 2

Бояре Романовы, родственники московским государям по бабке великого князя Ивана III, Марье Голтяевой-Кошкиной, и по отцу приходились родными племянниками первой супруги царя Иоанна Грозного, Анастасии Романовне, из рода Захарьиных-Романовых-Юрьевых. Романовы

считались по роду своему, знатности, положению и богатству едва ли не первыми вельможами на Москве.

Род бояр Романовых происходил от Андрея Кобылы, известного московского боярина времен Симеона Гордого. Из ближайших потомков этого Андрея Кобылы особенно возвысился один из внуков его, Иван Федорович Кошкин, любимец и ближайший человек Московского великого князя Василия I. Сын его Захарий положил начало целому роду. Потомки его получили фамилию Захарьиных-Юрьевых. Два сына Захария были при дворе великого князя Василия III; старший, Михаил, — одним из его самых приближенных бояр, младший, Роман, — окольничим. Великий князь и царь всея Руси Иоанн IV Васильевич Грозный был женат на дочери этого окольничего Романа Юрьевича, Анастасии. И весь род Романа Юрьевича со времени царя Иоанна IV стал называться: Романовы-Захарьины-Юрьевы, или просто Романовы.

Брат царицы Анастасии Романовны, Никита Романович, состоя в ближних боярах, пользовался особенным уважением и любовью Грозного-царя. Родственная связь с царским родом и добрая слава, которую завоевали и царица Анастасия, отличавшаяся добрым нравом и голубиною кротостью,

и брат ее Никита Романович, не раз отводивший гнев царя в страшную минуту, умевший влиять на горячий и крутой нрав молодого еще Иоанна Грозного, способствовали народной любви и преданности всему романовскому роду. Недаром в народных песнях и былинах отводится почетное место Никите Романовичу за его добрые дела и заступничество за опальных перед царем.

После смерти Анастасии Романовны брат ее не перестал быть ближним к царю, хотя и не принадлежал к числу царевых любимцев — опричников. Как велико было доверие Иоанна Васильевича к Никите Романовичу, видно из того, что умирая, Грозный-царь назначил опекуном своему сыну, юному Федору-царю, того же Никиту Романовича.

Но царский шурин немногим пережил своего Государя. Разбитый параличом, Никита Романович на смертном одре просил входившего тогда в силу боярина Бориса Годунова беречь оставшихся после него сыновей, Никитичей, как их называли тогда на Москве. Их было пятеро, молодых богатырей-красавцев: Федор, Александр, Иван, Василий и Михаил. Особенным расположением юного царя Федора пользовался старший, Федор, тезка и ближний человек к царю.

Не было более образованного человека на Москве в то время. Отличаясь особенной начитан-

ностью, Федор Никитич сумел изучить даже латинский язык, что было тогда величайшею редкостью в среде московских бояр. Обладая величавою наружностью, Федор Романов владел поразительным даром слова, так мало присущим его современникам. А его щедрость и доброта, унаследованные от отца, привлекали к нему сердца окружающих.

Ходил слух по Москве, что умирающий бездетный царь Федор Иоаннович хотел передать престол своему двоюродному брату по матери Федору Никитичу Романову, после того как царевич Димитрий, брат царя по отцу от брака Грозного с Марией Нагих, был предательски зарезан в Угличе. Но ближний боярин Борис Годунов, путем интриг и козней, сам добился престола, перешагнув через труп углицкого убитого царевича, зарезанного, как утверждает народная молва, посланными им же убийцами. Но слишком любимы были в народе бояре Романовы, Никитичи, чтобы не считаться с ними новому царю, не прирожденному, а посаженному на царство горстью бояр с собором. И с первых же дней своего владычества Борис понял это и всячески отличал Никитичей. Он пожаловал боярство Федору и Александру, и они заседали в его государевой думе. Михаила Никитича назначил окольным. Одной из сестер Романовых, Ирине Никитичне, сватал своего племянника.

Но тайный страх перед родовитостью и силою первых вельмож-бояр точил душу Бориса, незнатного потомка татарского мурзы Четы, гораздо менее достойного престола, нежели Никитичи, родственники московских царей.

## 3

«Беспреренно все услышанное братцу Феде пересказать надо!» — спешно шагая по дороге к хоромам, мысленно твердила Настя, и то и дело хмурилось ее обычно веселое лицо.

Между тем в просторной, светлой стольной избе богатых романовских палат шла обычная предобеденная суета.

Тяжелые дубовые столы, покрытые белоснежными, с камчатными узорами скатертями, ломились под тяжестью серебряной посуды, тарелок, чарок, ковшей и бражниц.

Редкий день выпадал, чтобы не наезжало гостей видимо-невидимо на романовское подворье к боярину Федору Никитичу, славившемуся на всю Москву-матушку своим радушием и хлебо-сольством. А если и выпадал такой день, то гостей заменяла ближняя родня хозяев: братья, родственники боярина с их семьями, охотно собиравши-

еся у Федора Никитича. А их было немало: сами Никитичи, князья Черкасские, один из которых был женат на старшей из сестер Романовых, Марфе Никитичне, князья Сицкие, Репнины, Салтыковы, свойственники по супруге, боярыне Ксении, или Аксинье Ивановне, из рода Шестовых, сами Шестовы, Карповы и другие.

На несколько десятков персон поэтому накрывали обеденный стол холопы, во главе с дворецким и боярским ключарем-казначеем, верным Сергеичем.

Расторопная челядь, уставлявшая столы серебряной посудой и утварью, не забыла покрыть и новыми, червчатого атласа, поволошниками с золотой каймой и гривкой скамейки-места для гостей, поправить теплящиеся огоньки лампад у божницы в красном углу стольной горницы и до блеска протереть серебряное паникадило, спускавшееся с потолка на массивной цепи — гайтане. На дневных трапезах его не зажигали, так как свет беспрепятственно проникал в слюдяные, хитро разрисованные оконца боярских хором. И в блеске солнышка особенно ярко сверкала драгоценная серебряная утварь на столе и поставцах. Не менее ярко освещало солнышко и стены горницы, украшенные поверх суконных тисненых обоев картинами из библейской истории.

Заморские, вывезенные из Неметчины часы, стоявшие на высоком поставце в соседних со стольной горницей сенях, отбили двенадцать ударов.

— Едут! Едут! — размахивая шапкой, закричал молоденький челядинец у ворот, где он сторожил появление боярского поезда.

В тот же миг вся челядь метнулась к воротам.

В конце улицы, у креста показалась группа всадников. Впереди на гнедом карабахе ехал в терлике и невысокой шапке ближний боярин и думец, хозяин романовского подворья Федор Никитич.

Он казался много моложе своих пятидесяти трех лет. В его величаво-красивом лице с темно-русой, едва тронутой сединой бородой, пронизательных, полных ума и энергии глазах теперь сказывалась тревога.

За ним ехал верхом второй брат его, тоже думский боярин Александр Никитич. И у добродушного второго Никитича те же следы немалого волнения. Да и следовавшая за старшими Романовыми молодежь, младшие братья, красавец богатырь Михаил, недавно произведенный из стольников в окольничие, о физической силе и чисто русской красоте которого говорила вся Москва, Василий и Иван Никитичи с князьями Черкасскими и братьями Сицкими да с дворяна-

ми Шестовыми, их родственниками и свояками, были тоже как будто не в себе в это теплое, ясное утро начала мая.

Бояре и их гости спешили у высокого крыльца, бросив поводья на руки челяди, и следом за хозяином дома прошли в стольную избу.

— Наши вернулись, и с гостями! Да невеселы что-то. Ой, чует лихо сердце мое! — говорила, выглядывая в окно женской половины терема, сама молодая боярыня, Ксения Ивановна, из рода Шестовых, чернобровая, белолицая женщина лет тридцати, с решительным лицом и быстрыми, смелыми глазами, жена старшего Романова, Федора Никитича.

— И, полно беду накликивать, невестушка! — возразила княгиня Марфа Никитична Черкасская, старшая сестра Никитичей. — Вернулись наши соколы поздорову, сама ведаешь, а что невеселы, так с устатку это. Небось не легкое дело в думе государевой заседать. Да вдобавок по нынешним временам, когда, окромя как на родичей своих Годуновых, царь и глядеть ни на кого не хочет, только их и слушает, им только и доверяет... им одним.

— Полно, сестрица, — вмешалась в беседу двух боярынь молодая жена Александра Никитича, боярыня Ульяна, — ведь и мы по свойству ца-

рю нынешнему не чужие, с тех пор как сестрица Ириша за племянника выдана царского.

— А все же, сестрицы, чует мое сердце, — вздохнула Ксения Ивановна, — недолюбливает наших бояр царь Борис.

— Тише! Детки с Настею сюда идут! — возвестила княгиня Марфа и бросилась навстречу племянникам, которых, будучи сама бездетной, любила как собственных детей.

— Видали! Видали, как батюшка с дядями прискакал на аргамаках! Ходко таково! — весело сообщил Миша, минуя тетку и бросаясь в объятия матери, пряча оживленное раскрасневшееся личико в складках ее богатой и нарядной телогреи.

— Родимый ты мой! — ласково молвила молодая боярыня, прижимая к груди сына, и несколько твердое выражение ее красивого, полного лица озарилось любовью и нежностью материнства, а полные затаенной тревоги глаза прояснились и засияли. Он был ее радостью и утешением, лучшим из сокровищ романовского подворья, — он и голубоглазая сестра его Таня. Троих, Бориса, Льва и Никиту, старших детей, Федор Никитич и Ксения Ивановна схоронили еще младенцами, четвертого, грудного мальчика, потеряли недавно. Зато Миша и Таня росли на утешение и радость родителям.

И теперь, позабыв недавние тревоги, она ласкала их с той беззаветной нежностью, на которую способны одни только матери. Но тревога и предчувствия боярыни Ксении Ивановны были не напрасны.

В то время как в женском тереме она с золовками любовалась своими ребятишками, в стольной избе слуги внесли и расставили на столе несколько перемен яств, и завязалась между хозяевами и гостями оживленная беседа.

Не прикоснувшись к жареным лебедям, курам, уткам и рядом со всевозможными взварами и подливками, к подовым пирогам, лепешкам и мясным студням (день был скоромным), к бесчисленным похлебкам, подававшимся после жаркого и обильно покрывавшим стол, осушив одним духом кубок с заморской романеей, Федор Никитич, хозяин дома, произнес, обращаясь к гостям, предварительно движением руки выслав из горницы челядь:

— Неладное затевает нынче ворог ваш, окольный Годунов, Семен Никитич. Вчера в передней государевой такое сказал он брату Александру слово, что, не будь то в дворянской палате, не сдержался бы, и света Божьего невзвидел бы охульник...

— Твоя правда, братец, — произнес обычно спокойный и добродушный, теперь же крайне

взволнованный Александр Никитич. — Осмелился он, — обратился Александр к внимательно слушавшим его с братом присутствующим, — дерзнул такую зацепу мне пустить, когда я вместе с братом и Шуйским, князем Василием, да Воротыньским-стариком завел беседу о датском королевиче Ягане, что следует сюда для брака с царевной Ксенией, будет ли королевич перед честным венцом переходить в нашу веру, а он такое слово молвил: «Не заморские, говорят, не крещенные по нашему обряду принцы страшны, боярин Александр Никитич, а свои, московские бояре куды страшнее, которые на царскую державу зубы точат да на здоровье государево зло умышляют, — вот те поистине страшны!»

— А ты что же отвечал на это, брат? — вырвалось у молодого, несдержанного Михаила Никитича на всю стольную горницу.

— Отвечал я, что у великого государя врагов много, а верные слуги одни стоят у кормила правления, и что ежели ведает про какую измену он, Семен Годунов, так пусть о том оповестит нас всех, и мы разделаемся сами с изменниками царскими. Вот что я отвечал ему вместо Александра, — так старший брат закончил свою речь.

Красавец Михаил воскликнул:

— Эх, брат Федор, жалости достойно, что меня там не было! Я бы ему показал. Не поглядел бы на то, что он ухо и око государево, отбил бы у него охоту верных и честных слуг государевых чернить!

И глаза молодого Романова заматали молнии.

— Полно, Миша, — ударив его по плечу, вразумлял старший Романов, — ну и в худшую беду ввел бы нас, братьев. Или не ведаешь, что царь Борис только Семену Годунову и верит нынче... Только его и слушает. Уж давно я примечаю, что волком косится на нас ближний боярин. То ухмыляется, то глаза отведет, нынешние слова об изменниках и подавно не зря им сказаны. После думного сидения остановил я его в дворцовых переходах и один на один спросил: «Куда гнул, Семен Никитич? Что за речи брату поутру говорил?» А он мне такой лисой прикинулся: «Что ты, говорит, окстись, боярин! С чего всполошился?» Не всякое, говорит, лыко в строку. Коли совесть твоя чиста, так, говорит, нечего тебе о моих речах и мыслить. Ужом из рук моих вывернулся и поспешил от меня. Только, чую, неспроста были те речи. А притянуть за них к ответу нельзя. Тонко дело свое знает, подлец, хвостом виляет, а уцепиться не дает.

— И государь из-за него как будто последние дни на вас немилостиво глядит, — молвил свое слово Александр Никитич.

— Великому государю ведомо, что все Романовы с родичами и свойственниками своими его верные слуги! — произнес Федор Никитич тоном, не допускаям возражений, и, поднявшись со своего места, произнес здравницу царю в виде длинной, витиевато составленной послетрапезной молитвы, которую царь Борис с первым советником своим, патриархом Иовом, составили совместно и передали боярам и людям московским со строгим приказанием ежедневно читать ее за столом.

Трапеза окончилась.

Невесело разошлись из-за стола хозяин и гости по заготовленным покоем для послеобеденного сна, вмененного чуть ли не в обязанность каждому русскому человеку в то время.

Каждый чувствовал надвигавшиеся тучи на бояр Романовых...

В воздухе собиралась гроза.

Чувствовалась она и на женской половине романовского подворья.

Когда разъехались ближние и дальние гости, Федор Никитич прошел в терем жены. Терем этот был отделен от мужской половины целым рядом переходов, сеней и клетей. Только в редкие дни именитой боярыне Ксении Ивановне с детками

удавалось обедать вместе с горячо любимым мужем и отцом. А по большей части званые пиры, да ловы, да медвежьи и соколиные потехи после проведенного во дворце «думного» утра отнимали боярина Федора Никитича у семьи.

Зато сейчас, после короткого послеобеденного отдыха, он поспешно прошел на женскую половину.

Гости боярыни Ксении тоже разъехались по домам, и теперь в ее просторной передней горнице, кроме нее самой да деток с их мамкою-пестуньей Кондратьевной, находились только старая боярыня Шестова, мать молодой Романовой, и золовка ее, красавица Настя, жившие на романовском предворье. Лишь только плечистый и рослый боярин Федор Никитич показался в дверях, Таня и Миша с веселым криком бросились навстречу.

— Батюшка! Батюшка! Наконец-то пожаловал!

Одним могучим взмахом рук боярин захватил обоих деток и, вскинув на воздух, прижал к груди.

— Аль боязно? — усмехаясь, крикнул он визжавшим от восторга детям.

— Ничуть не боязно! Нисколечко! — хохотали они, ловя и целуя руки отца.

Но, несмотря на радость деток, на ласковую встречу любимой жены и приветливые речи тещи,

тревога не исчезала из орлиных пронзительных глаз Федора Никитича.

Эта тревога передалась невольно и жене, и сестре, и теще.

В то время как Ксения Ивановна пытливо заглядывала в лицо мужу и осторожно выпрашивала его о том, что произошло у него и все ли «поздорову», боярышня Настя, обожавшая братца Федю, заменившего ей отца, после смерти которого она осталась совсем малым ребенком, решила:

«Нет, ни слова не поведаю ему из того, что слышала я в саду. Ишь, какой он нынче нерадостный, невеселый! Господь с ним! Не надо ему докучать еще новой тревогой! Пусть потешится ребятами, авось тревога и отойдет, тогда и потолкую с ним».

И девушка оказалась права.

Таня и Миша щебетали без умолку, сообщая батюшке ненаглядному о том, как они с тетей Настей от Кондратьевны убежали утром, и какие чудесные цветочки да травушки растут в дальнем углу сада, и что в смородиннике да в малиннике и во все заблудиться можно.

И невольно глаза боярина прояснились.

— Ведь вот, Аксиныюшка, была печаль, и нет ее, а все они, проказники эти, лучше всяких лекарей заморских вылечили отцову кручину!

— Что и говорить, детки — благословение да благодать Господня, — подтвердила старая боярыня Шестова, поглядывая с умилением на счастливую семью дочери, в которой сама не чаяла души.

Глядя в просветлевшее наконец лицо брата, красавица Настя Романова окончательно решила в тайниках своей девичьей души:

«Нет, ни словом не обмолвлюсь ему о том. Коли печального оберегала его, голубка, зачем навешивать ему новые заботы и кручины, отравлять ему радость, — это и подавно негоже!»

## 4

Темен и сумрачен проснулся великий государь всея Руси Борис Федорович Годунов.

Был пятый час утра. Первые лучи раннего весеннего солнышка победоносно врываются в расписанные яркими узорами заморского малеванья слюдяные оконца царской опочивальни.

Дробясь сотнями искр, они играли на гранях сердоликовых и хрустальных лампад, на серебряных цепях-гайтанах, спускавшихся у божниц, и на золоченой короне, венчавшей царское ложе под глазетовым балдахином, устланное мягкими лебя-

жыми перинами и пуховиками, с редкостной резьбою и позолотой по дереву, с пышным одеялом из червчатого атласа, окаймленным золотым кружевом, с мягкими взголовьями (подушками), заключенными в тонкие, цвѣтного шелка наволочки. Большой персидскій ковер, дар восточнаго султана, устилал горницу, потолокъ которой был расписан цвѣтами и травами, а стѣны — сценами из жизни царей и картинами из Священной истории. Царское кресло, золоченое и крытое бархатом, поставецъ с редкостными часами-будильником и кипарисовые сундуки-укладки да тяжелые скрини (комоды) под замками за царской печатью, в которых хранилось государево бѣлье и доступ к которым имѣлъ только самый близкій к царю человек и сама государыня царица, — вот обстановка царевой опочивальни того времени.

Последнее время тревоженъ был сонъ царя. Далеко за полночь сѣдые старцы-сказочники пѣли в сеняхъ дребезжащими голосами древнѣе сказанія о великомъ князе Владимирѣ и мудрой княжнѣ Ольгѣ, о Святославѣ и Олгѣ, о храбромъ богатырѣ Ерусланѣ изъ далекихъ, древнихъ временъ. Но даже сказочники не могли рассеять задумчивости царя и способствовать его сну и покою.

До утра, почти до самаго восхода солнца, промаялся на своемъ пышномъ ложѣ Борис, то чутко

прислушиваясь к сонному всхлипыванию спальников и постельничего, спавших в сенях у дверей царской опочивальни, то всматриваясь в темные, тонувшие во мраке углы комнаты, молча вопрошая притаивавшуюся ночную тишину.

Мысли донимали царя не даром. И волнение Бориса имело свои причины. Не в меру подозрительный, видевший вокруг себя измену и подвох, путем долгих происков и интриг очутившийся на престоле, он, захудалый потомок татарских князей, боялся тех, кто был знатнее и именитее его по рождению.

А тут еще его ближние бояре, родственники-годуновцы, то и дело нашептывали в уши царю слухи о не существующих на самом деле кознях именитых бояр, интригах и изменах. Особенно старался Семен Никитич Годунов, царский дядя. Этот лукавый, хитрый, но ничем не выделяющийся человек опасался соперничества в близости к царю людей, действительно выдающихся и достойных. Да и надежда поживиться за счет опальных бояр немало способствовала наговорам на них царю со стороны Семена Годунова. Если при царе Иване Грозном православная Русь стонала под гнетом пыток и казней, то в дни царствования Бориса Федоровича по одному только навету и доносу врагов людей обвиняли в измене, ссылали, предварительно подверг-

нув сыску, то есть допросу, сопровождавшемуся пыткой, или заточению в тюрьме, а имения и вотчины мнимых изменников отписывались на государя, который нередко жаловал ими доносчиков.

Суеверный царь Борис Годунов особенно боялся «сглаза» и «порчи».

Его приспешники пользовались этой слабостью, наговаривая государю на тех или других из своих врагов, приписывая им умысел испортить царское здоровье. Кудесники, вещие старцы, ведуньи и всякого рода гадалки не переводились в то время на Москве, пользуясь покровительством окружающих царя людей, чтобы каждую минуту по цареву желанию предстать перед государем и сказывать ему судьбу, «то есть гадать ему в тишине подклетей». К этим ведунам и ворожеям имел большое доверие Борис.

Еще накануне этой ночи, проведенной так тревожно, без сна, государь послал свою «правую руку», свое «ухо и око», Семена Годунова, к новому, объявившемуся на Москве астроному, приехавшему из Немецчины.

Никогда еще душевное смятение Бориса не достигало, казалось, такой силы, как в эту ночь.

Но и без сонных видений вставали перед царем, как живые, образы, пугавшие его, омрачавшие душу, наполнявшие страхом.

Далекий Углич... Соборная площадь... Толпы народа, стремящиеся к царицыну дворцу, где вдова Иоанна Грозного, седьмая жена его, Мария из рода Нагих, жила с сыном Димитрием-царевичем и братьями. Эта картина из недавнего прошлого особенно не давала покоя Борису.

По желанию правителя Бориса юный царь Федор отослал туда свою молодую мачеху и сводного брата — царевича Димитрия. Так желал этого он, царский шурин Борис Годунов, первый советник царя Федора Иоанновича.

Пожелал он вскоре и большего... Пожелал отстранить наследника, царевича Димитрия, от престола. И вот прошел слух по Москве, что зарезался царевич в далеком Угличе, в припадке падучей наткнувшись на лезвие ножа...

Так говорили в Москве в то время. Но совсем иное говорила совесть Бориса в бессонные ночи, полные ужаса и муки.

Царевич Димитрий пал под ножом наемных убийц, и престол Федора Иоанновича должен был отойти к достойнейшему из его ближних людей.

Слабый, болезненный Федор Иоаннович слепо предался умному и деятельному Борису.

Но подле трона царя находился бывший воевода нижегородский, Федор Никитич Романов, любимец всей Москвы.

И умирающий Федор Иоаннович, как ближнему своему родственнику, двоюродному брату Федору Никитичу готовился отдать престол.

Хитрый правитель Борис Годунов с корнем вырвал это решение. И водворился сам на престоле московском.

Но страх перед более достойным царского скипетра Федором Никитичем и его братьями омрачал бессонные ночи Бориса.

Он знал, что Федор Никитич с братьями любимы народом. Их щедрость, честность, неподкупность были хорошо известны. А равно с этим и их огромные богатства. Что, если они?..

Эта мысль калеными щипцами жгла душу царя Бориса. И не в первый раз в эту ночь... Многие бессонные ночи провел он, думая, как бы, не прибегая к тем крутым мерам, которые советовал ему его дядя Семен Годунов, избавиться от бояр Романовых, особенно от старшего из Никитичей. Думал и не мог найти выхода...

С распухшими веками и красными утомленными глазами, царь приподнялся на перинах и ударил в ладоши.

Два спальника и постельничий боярин неслышно вошли в горницу и, отвесив земной поклон царю, приступили к сложной процедуре «убиранья» государя.

Получасом позже Борис, в домашнем, расшитом драгоценными камнями и жемчугом кафтане, с тяжелым охабнем на плечах и в тафье на голове, опираясь на свой царский посох, вместе с сыном, царевичем Федором, красивым, румяным юношей, прошел в Крестовую палату. Здесь на пороге и царя и царевича встретил духовник царский, протопоп Благовещенского собора, с крестом в руке.

Борис, отличавшийся набожностью, молился горячо и истово, кладя земные поклоны.

По выходе из Крестовой царь послал стольника на женскую половину дворца спросить о здравии царицы Марии Григорьевны и царевны дочери Ксении.

Годунов, прежде чем проследовать в свою государеву переднюю, где к этому часу собирались все думные и ближние бояре для совместного с царем решения мелких дел (крупные дела решались в Грановитой палате), прошел в царскую комнату, куда допускались лишь немногие, самые близкие люди, и приказал позвать Семена Годунова.

## 5

— Ну что, Семен Никитич? Дознался ли про все по моему велению?

Этим вопросом Борис встретил высокого, худого, несколько сутулого человека в боярском кафтане, крадущейся походкой проскользнувшего в горницу и раболепно в земном поклоне склонившегося перед царем.

Маленькие глазки Семена Годунова забежали, как мыши в клетке, а длинные худые пальцы нервно пощипывали бороду.

— Дознался! Как есть дознался обо всем, великий государь!

— Ну?! Сказывай же, все сказывай как на духу! — скорее угадал, нежели услышал окольный из дрогнувших от волнения уст царя.

Семен Годунов не сразу поспешил ответить. Он заглянул в смежные с государевой комнатой сени, плотно прикрыл двери и склонился к уху царя:

— Великий государь! По твоему царскому приказу был я поздно ночью у того звездочетанемчина и пытал от него судьбу Московского государства. И на звезды, на планиды небесные глядел он при мне в трубу и линии чертил на пергаменте... И планиды, и линии — все едино говорили, государь великий... Все сулили смуту великую, измену и козни злодеев, завистников твоих...

— Какие козни? Какие злодеи? Опять за старое ты, дядя! — с досадой, слегка ударив посохом об пол и болезненно морщась, произнес Борис.

Багровая краска залила лицо ближнего боярина.

— Не гневайся, великий государь, на меня, верного слугу твоего... Сам ведаешь, душой и телом служу тебе, денно и ношно, себя не жалеючи...

— Полно, полно, дядя, — снова нетерпеливо перебил Борис, — сам ведаю про твою усердную службу, про твои заслуги... Так сказывай, что тебе поведал тот немчин?

Семен Годунов опустил в пол глаза, как бы колеблясь, как бы не решаясь произнести то, что рвалось наружу.

Томительная пауза воцарилась в государевой комнате. Слышно было только, как тяжело дышал Борис.

— От рода Романовых восстанет скипетродержец российский! — зловеще молвил ближний боярин, поднимая вверх палец. И следом добавил спокойно: — Вот что поведал мне немчин-звездочет.

С округлившимися от ужаса глазами Борис отпрянул от дяди.

Тяжелый посох с силой ударил об пол.

— Московский царь — из романовского рода? Что говоришь? Опомнись, боярин! — Борис Годунов всматривался в лицо Семена.

Ближний боярин стойко выдержал огонь этих глаз.

— Так сказал звездочет-немчин, государь, а я в речах тех не волен. И другое еще говорил он мне. Коли велишь, передам тебе и другие его речи.

— Говори! — тяжело выдохнул Борис.

— Молвил он еще такое слово, государь великий: великую смуту на одной половине своей сулит российская планида, а на другой...

— Что на другой? Говори же, говори, не томи, боярин!

— А на другой, — медленно, с расстановкой произнес, отчеканивая каждое слово, но не повышая голоса, Семен Никитич, — коли избыть тех ворогов, злодеев твоих, тебе и сыну твоему благоверному и всем потомкам твоим сулит планида светлую и великолепную державу.

Наступило молчание, во время которого Борис пытливо смотрел на своего родственника. И неожиданно потребовал:

— Клянись мне, что ни слова от себя не прибавил, что ничего ложного нет в твоих речах. На животворящем кресте клянись мне.

Семен Годунов, не медля ни минуты, расстегнул ворот кафтана, взял с груди привешенный на золотом гайтане тельник, приложил крест к губам и торжественно произнес:

— Клянусь на сем кресте животворящем, что ни слова не молвил я ложного и доподлинно передал те речи звездочета государю моему.

Борис, раздавленный и уничтоженный, безмолвно опустилсЯ в кресло.

Ни кровинки не было в лице царя. И только черные глаза горели тем же жутким пламенем.

— Что делать, Семенушка? Что делать? — в забывчивости, обессиленно вопрошал Борис.

Тогда «ухо и око государево» снова склонилось над плечом царским, и торопливо Семен Никитич стал выдавать своему венценосному племяннику те планы, которые созрели у него не вчера, а на протяжении долгих месяцев усиленных дум, — планы погубить бояр Романовых.

Он говорил. Борис слушал. Изредка гримаса отвращения пробегала по лицу царя:

— Полно, боярин! Да можно ль так? Да ведь они ближние мои «думцы»? Ведь вельможи первые на Руси?

— Государь великий! Не бойся! А Бельский? А Мстиславский? Нешто не первыми они близ трона царского стояли покойному Грозному-царю? Мстиславский по крови ближе, чай, был, нежели Никитичи, а по твоему приказу куда они девались, те старики? Ты только мне повели, а уж я сам управлюсь с ними! Так оплету, такую заваруху зава-

рю, что и оглянуться не успеешь, как твои первые ближние вельможи последними изменниками царскими перед очами всей Руси предстанут. Только попусти, только позволь!

Слова Семена грузным камнем падали на сердце царя... Он задыхался. И гадок, и страшен казался ему в эти минуты его дядя, собравшийся так легко оклеветать и погубить невинных, порождением ада чудился он ему.

Но жалящая, как змея, мысль тут же стучала в голову царя:

«Полно! Невинные ли? Взглянуть достаточно на Федьку Романова, на его царскую осанку да на великокняжий вид... Чай, не раз мнил себя орлом на царском престоле...»

И снова, словно огненными стрелами, пронзили страшные слова: «От рода Романовых восстанет скипетродержец российский!»

Годунов в смятении думал о судьбе сына: «А Федя... Сын! Законный мой царевич... Преемник! Куда ж они его? Злодеи! Изверги! Пусть гибнут, прежде чем Федора моего лишат престола, детище мое, царский корень мой!»

— Семен Никитич! Дядя! Делай что знаешь, губи кого знаешь, лишь бы сохранить державу царевичу Федору, возлюбленному сыну моему!

## 6

Тихая, ясная ночь веяла над Москвою. Молодой месяц заливал неверным голубоватым светом все сорок сороков московских церквей и соборов, и крепкие стены Кремля, и широкую полосу Москвы-реки, казавшейся расплавленной серебряною рудою в сказочном сиянии.

В этом серебряном море особенно рельефно выделялись хоромы с пристройками богатого годуновского подворья, выходящего одним углом на Троицкую, а другим на Никольскую улицу, бывший двор князя Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя Иоанна Грозного, казненного Борисом Годуновым.

Здесь, в хоромах царя Бориса, на его годуновском подворье близ Троицкого монастыря, у церкви Богоявления, у митрополичьего двора, хозяйничал дядя царский, Семен Никитич.

В эту тихую лунную весеннюю ночь, казалось, один только он не спал во всей Москве.

Из угла в угол шагал Семен Годунов по просторной своей опочивальне. Он то приближался к окну и дрожащей рукой отбрасывал тафтяную занавеску, то снова принимался ходить из угла в угол, поминутно отпивая из серебряного ковша с холодным медом, стоявшего на столе.

Неожиданно легкий свист раздался под самым окном боярской опочивальни.

«Наконец-то!»

Семен прошел в сени мимо крепко спавшего дворецкого и двух челядинцев, которые стерегли у порога боярский покой, и притворил входную дверь, ведущую на крыльцо. Месяц ласково глянул ему навстречу.

— Ты, Алексашка? — Семен всматривался в темноту.

— Я, боярин! Дозволишь?

— Ступай за мною!

Серая тень выросла перед Семеном Годуновым.

Невысокий плечистый человек неслышно двинулся за хозяином в сени, мимо сладко похрапывавших холопов.

Ни словом не обмолвился боярин со своим спутником, пока не вошел в свою постельную горницу. Здесь Семен Никитич тяжело опустился на лавку, сделав знак своему гостю приблизиться.

Это был человек лет сорока, с черными злыми глазами, низким лбом и массивным подбородком. Одет он был в желтый кафтан дворового человека, крепко опоясанный красным кушаком. Шапку он скинул с головы еще до входа в хоромы. Спутанные, чуть седеющие уже черные волосы, взлохм-

ченные и густые, покрывали почти до бровей и без того низкий лоб.

— Ну, Бартенев Второй, что скажешь? Все ль исполнил, как было указано тебе от меня? — спросил царский окольничий.

— Как приказал, все, боярин, исполнено по приказу твоему. Вот корешки в мешке наговоренные, а вот и перстенок заветный боярина моего Александра Никитича! — И Бартенев Второй вынул из огромного кармана небольшой мешок, а вслед за ним вытянул из-за пазухи и великолепный алмазный перстень с печатью. Семен Годунов почти вырвал перстень из рук холопа и вгляделся в печать, вырезанную на нем.

— Молодец ты, Алексашка! — забывшись на минуту, почти в голос крикнул он, рассмотрев буквы печати. — Так ты угодил мне перстеньком и корешками, что век твоей заслуги не забуду! Обещано тебе было, что, как только бояр твоих под розыск подведут, от их живота и имения, которыми государь великий за мою верную службу меня пожалует, тебе немалую толику уделю. А пока держи!

И, вытащив из кармана объемистый кошель с деньгами, Семен Годунов бросил его Бартеневу, ловко подхватившему на лету щедрую боярскую подачку.

— А только уговор помнишь? И клятву тоже? — Боярин подозрительно поглядывал на раболепно кланявшегося ему Бартенева Второго. — Чтоб ни одна душа не проведала, что ты корешки наговоренные в мешке за боярской печатью Александра Никитича сам подкинул в подвал Романова да перстенечком с его печатью припечатал их. И на розысках и под присягой помни, Алексашка, не то погубишь себя и меня!

— Буду помнить, боярин, буду помнить! И сказывать всем стану, что мне, как ключарю, казначею боярскому, как первому и верхнему над всею челядью холопу, заведомо известно о том, как мешок сей с корешками наговоренными противу царского здравия мой хозяин, боярин Александр Никитич, от вещуньи московской привез и в подвалах своих схоронил за своей боярской печатью. Все, как ты приказать изволил, государь боярин, все так показывать и стану.

— Ну то-то же, смотри! Не оплошай, а теперь...

Семен Годунов затеплил свечу от висящего над столом паникадила, отломил кусок воска от нее, помял в руках и, разогрев на свечке, приложил к концам бечевки, связывавшей отверстие мешка, переданного ему Бартеневым. Затем, взяв пер-

стень, похищенный Бартеневым у его хозяина, боярина Александра Романова, сделал оттиски перстнем на воске и запечатанный таким образом мешок с корешками вместе с романовским перстнем передал Бартеневу.

— Теперь спеши... Ночи весенние короткие, до рассвета все уладить надо! Спеши к себе домой, на подворье Александра Никитича, мил дружка нашего. Там спустись в подвал да и кинь туда мешок с корешками наговоренными. А перстенок на старое место положи, чтоб боярин, чего доброго, пропажи не хватился до времени. А награжу я тебя по-царски за это, Алексашка, за то, что бояр своих пособишь мне избыть. Ступай же, ступай скорей, да гляди в оба, не оплошай, смотри, чтоб не приметили ни здешние мои, ни ваши романовские холопы.

— Ладно, не оплошаю, боярин... Не приметят. Будь покоен!

Бартенев Второй попятился к двери, ужом выскользнул из боярской опочивальни и шмыгнул из сеней на двор.

Следом за ним прокрался и сам боярин, крепким засовом запер он двери и вернулся в опочивальню. Здесь одним духом осушил оставшийся на дне кувшина мед и со вздохом облегчения опустился на лавку.

«Свершилось! Кончено! Что-то запоете теперь, какую песенку, бояре Романовы, славные Никитичи, когда найдутся корешки заветные, наговоренные против царского здравия, в ваших романовских подвалах? Небось и печать романовская, все ее знают, как и перстенок заветный!.. Не отвертеться вам...»

Он с наслаждением потирал потные от волнения руки, и злорадная улыбка блуждала по его лицу.

«А жаль, — думал боярин, — жаль, что не старшего Никитича, не Федьку окаянного, главного врага нашего, кичливого, гордого, подвести к ответу с корешками придется, а Александра только... Да что делать станешь! Нет изменников среди холопов Федоровых... Все до единого за боярина своего Федора Никитича жизнь отдадут, никакими посулами их не купишь. А у Александра Никитича нашелся такой холоп. За мощную червонцев Бартенев Второй господина своего, боярина, продал. Ах, только бы ему дело до конца довести, только бы корешки заветные в подвал занести и бросить, чтобы никто из челяди не приметил, да и перстень боярский вернуть! А коли одного брата уличат в измене, других и подавно легче под розыск подвести!»

## 7

Майский день выдался теплый и ясный на славу. С самого раннего утра бояре Федор и Михаил Никитичи с князем Борисом Ивановичем Черкасским, мужем Марфы Никитичны, да с братьями князьями Иваном и Василием Сицкими во главе целой дружины кречетников, конюхов и стремянных отправились на охоту.

На романовском подворье остались только женщины. Настя с утра ластилась к Ксении Ивановне, прося отпустить ее да Таню с Мишей и мамушкой и сенными девушками в ближние рощицы на Москву-реку, собирать первые весенние ландыши.

— Вели, матушка, лошадей запрячь да вершников отрядить дворецкому, мы хоть погуляем маленько, хоть духом весенним надышимся, хоть поем песни на воле.

А Таня и Миша, прыгая подле матери, поворяли ту же просьбу своими звонкими детскими голосками:

— Отпусти, маменька! Глянь-ка, как солнышко светит да печет. Больно жарко у нас в садочке, а в рощице-то над рекою страсть как хорошо! Настя хороводы с девушками водить станет, венки нам из цветиков совьют... И тебе с бабушкой да тетушке Черкасской привезем цветочков!

Впрочем, просила из детей только одна Таня. Пятилетний Миша зарывался головкой в шелковые складки матушкиной праздничной телогреи и то и дело обнимал ее своими крошечными ручками.

Тревожно глянув на старую боярыню Шестову, Ксения Ивановна не выпускала из объятий своего сынишку:

— Уж и не знаю, что делать, матушка. Не случилось бы с детками лиха какого!

— Какому же лиху случиться! — запротестовала Настя. — Говорю, вели с нами вершников отрядить да дворецкому накажи ехать. Ничуть не страшно, сестрица!

— Да тебе-то что страшного, затейница! — возразила строгая боярыня Шестова, недолюбливавшая молоденькую боярышню. — Тебе-то какое лихо! Ишь, под небеса выросла, а разума не набралась... Все бы тебе резвиться да с детьми прыгать да бегать... Замуж тебе пора. Вон Ирина Никитична за Ивана Ивановича Годунова как вышла, словно в раю живет... Надо бы Федора Никитича упросить, чтобы перед царем за тебя слово замолвил, чтобы сам батюшка государь тебе другого своего родича или свойственника какого посватал. То-то ладно было б, Настюшка, то-то б ладно... Довольно в девках засиделась, семнадцатый годок стукнул, убрус надевать пора.

— Да что ты, матушка боярыня... Аль я дома тебе надоела? — вспыхнув как маков цвет, спросила Настя, и крупные слезы выступили на ее синих глазах.

Маленький Миша кинулся к своей тетушке, обхватил ручонками ее колени, прижался к ним кудрявой головкой и, глядя на бабку не по-детски серьезно, попросил:

— Не надо, баба, не надо обижать Настю!

— И впрямь, матушка, — вступилась Ксения Ивановна, — не обижай Настюшу... Она словно солнышко майское у нас в терему... Иной раз придет из царской думы Федор Никитич больно хмурый, а прибегут детки с Настей, зачнут смеяться да игры при нем затеят всяческие, глядишь, и прояснится наш ясный сокол. По моему глупому разуму, хошь бы и вовсе Настюше остаться с нами, радехонька была бы!

— Бог с тобой, сестрица, девка не соленье какое, чтоб ее в кадушке беречь! — засмеялась княгиня Марфа Черкасская, старшая из сестер Романовых. — Придет ее время, найдется добрый молодец, так отдашь поневоле. Так я верно ль говорю, Настя?

Но Настя молчала. Лицо ее пылало от смущения. Глаза потупились в землю.

Вместо нее снова заговорил маленький Миша.

— Не отдам тетю Настю никому. Моя тетя Настя! — заявил он с таким решительным видом, что все присутствующие покатались со смеху, а боярыня-мать взяла на руки мальчика и покрыла его головку горячими поцелуями:

— Желанный мой! Все для тебя сделаю, чего ни попросишь, соколик мой ясный!

Вмиг смущенные глаза Насти засверкали лукавыми огоньками. Она подбежала к мальчику и зашептала ему что-то на ухо.

И вот снова зазвенел голосок Миши:

— Отпусти нас в наречную рощицу нынче, матушка! Настя просить велела!

— Ай да Настя! Ишь какая ловкая! Провела меня, нечего сказать! — добродушно рассмеялась Ксения Ивановна — Ну, да делать нечего, от слов своих не отрекусь. Сказала, сделаю всё, что ни пожелает Мишенька, так тому и быть. Эй, мамушка Кондратьевна, покличь дворецкого Сергеича, вели ему лошадей снарядить да вершников... Да сюда зови его, хочу сама приказать блюсти боярчат на строго.

Та бросилась исполнять ее приказание. Через минуту на пороге горницы появился с низкими поклонами седой, но еще не старый человек, худой, подвижный, как юноша, с честным, открытым лицом и проницательными глазами,

любимый дворецкий Федора Никитича — Сергеич.

Строго-настрого приказала ему Ксения Ивановна на прогулке глаз не спускать с боярчат, расставить стражей верховых, пока они будут играть и резвиться в роще.

Как только отпустили дворецкого, мамушка с сенными девушками засуетилась, снаряжая детей и боярышню.

Привольно и хорошо ехать в прохладной, обитой лазоревой тафтой повозке, на мягких подушках, насланных поверх лавочек. Спущены темные занавески, но Танюша то и дело отгибает край их, и сквозь слюдяное оконце бойкие глазенки деток выглядывают на улицу под неумолчную воркотню мамушки. Внутри сумрачно и прохладно. Кроме Насти, детей и дородной мамушки, тут еще четыре сенные девушки, и все же хватит места хоть еще на десятерых.

По обе стороны повозки на конях скачут вершники из романовской челяди. Дворецкий Сергеич примостился на козлах, рядом с возницей. Хотя до надречной рощицы рукой подать, да не пешком же идти туда детям и сестре именитых бояр Романовых!

Вот проехали улицу, еще крестец миновали и стали спускаться под гору...

Остановились. Открылась дверца, и, весело щебеча, выпорхнули наружу сначала бойкая Настя, за нею детки и девушки. Выползла, тяжело отдуваясь, и дородная мамушка.

Дивно в надречной рощице... Там между деревьями сверкает голубая полоса Москвы-реки... Кругом теснятся белоствольные, нежные, стройные, как девушки, березки. А дальше, за ивами, раскидисто свесившимися над водою, над топкими зелеными озерцами-болотцами целый ковер белых, слово на картине нарисованных ландышей!

— Цветики, цветики лесные! — радовались дети, наперегонки срывая цветы. Таких не нарвешь в саду романовского подворья!

Сенные девушки помогали собирать ландыши и составлять из них пышные букеты.

Таня с важным видом отвела в сторону своего маленького братишку.

— Давай венок Насте сплетем. Словно царица лесная она у нас станет! Пусть покрасуется в белых цветочках!

— Сплетем, сплетем! — весело кивал Миша, души не чаявший в своей тетушке.

Сказано — сделано. Закипела работа. Сенные девушки ловко свивали стебли цветов и связывали их травами.

Вот наконец готов белоснежный убор на красивую девичью головку. Хороша в нем Настя!

Как увидали ее Таня и Миша в прелестном венке из душистых лесных цветов, так и кинулись обнимать тетушку.

— Красавица! Лапушка! Голубушка наша!

— Да полно вам, озорники, полно! — отмахивалась от племянников девушка.

И, выскользнув из рук детей, она кинулась от них с веселым смехом в самую чащу. С быстротой серны мчалась Настя. Вот проворными руками раздвинула кусты, вот юркнула за них... И остановилась как вкопанная посреди чащи.

## 8

Прямо перед нею словно из-под земли вырос невысокий, но плечистый юноша, одетый в простой кафтан, с поясом, с котомкой за плечами, с потертым колпаком на голове, какие носит в летнюю пору бедный народ в Москве, и с сучковатой дубинкой в руках.

Но под простой одеждой все же на диво статна была фигура юноши, а из-под колпака зорко глядели его светлые, живые, пронизательные глаза, освещаая некрасивое безусое лицо, обрамленное

рыжеватыми кудрями, выбившимися из-под шапки. Две бородавки портили его внешность, но все же он был привлекателен тем особым выражением энергии, смелости ума, которым дышала каждая черточка этого далеко не пригожего, но удивительного лица.

Первою мыслью Насти, едва пришедшей в себя от неожиданности, было: «Где-то видела я эти глаза и рыжие кудри! Где только? Не упомяну!»

А он уже улыбался, глядя на девушку. И улыбка, детски-добродушная и одновременно мужественно-смелая, удивительно преображала его.

— Не бойся, красавица! — произнес он негромко.

И опять вспомнила Настя голос этот, слышала она его где-то, и не однажды.

— Не бойся, лиха тебе не причиню. Я бедный странник, пробираюсь к родичам погостить, на рубеж литовский.

Едва оправившись от смущения, Настя стояла, не двигаясь, под его дерзким взглядом. Что он сказал ей неправду, в этом она не сомневалась.

У бедного странника из черни московской не могло быть этой осанистой повадки, этих смело-проницательных глаз, этого орлиного, пылающего взора!

— Кто ты, не ведаю, не знаю, хоть памятно мне твое лицо... Видела где-то, а где — не упомяну. Да все едино это. Коли не лихой ты человек, ступай своей дорогой... Коли лихо задумал какое, бери ожерелье мое, бери серьги с подвесками, и Господь будет тебе судьей.

Незнакомец выслушал девушку и возразил с улыбкой:

— Полно, боярышня Настасья Никитична, не грабитель я... Ни злата, ни камней мне не надо, боярышня. Зачем мне то, чего у меня вскорости будет много более, чем у братьев твоих, чем у всех годуновцев вместе взятых! Не бойся, не ограблю тебя... Другого я у тебя попрошу, боярышня... Задумал я одно мудреное дело, такое мудреное, что иному такое и во сне не приснится. И затем иду. Из Москвы вышел засветло, здесь хоронился в роще и тебя первую повстречал... Протяни же мне руку на счастье, благослови, боярышня Настасья Никитична. Видишь, имя твое и род твой мне ведомы. Пожелай доброго пути мне да лада... Легче мне будет покидать с таким напутствием Москву.

И рыжий незнакомец снял колпак и протянул изумленной Насе руку в ожидании ответа.

«Где я видела его? Где этот голос слыхала, где? Откуда известно ему мое имя?»

А рыжий незнакомец все стоял и ждал с протянутой рукой. Было что-то трогательное в этой молчаливой просьбе.

— Жду доброго твоего слова, боярышня!

Голоса девушек, мамушки, и звонкий смех детей слышались все ближе. Ауканье и клики звучали все громче. Надо было торопиться.

— Побожись мне, молодец, на кресте своем тельном поклянись, что не на дурное дело просишь напутствия от меня.

Тот быстро запустил руку за пазуху, вынул тельник. Драгоценный золотой крест сверкнул алмазами, яхонтами и рубинами, дивно загоревшимися в лучах солнца.

— Кто же ты?

— Кто бы ни был я, целую крест тебе, боярышня, на том, что прошу твоего напутствия на доброе дело. Русь Святую хочу от злого корня спасти, матушку-Москву родимую и весь ее честной народ. Так дашь на счастье руку, боярышня?

Вдохновенно прозвучали слова юноши. Плохо поняла девушка, от какого корня злого хочет этот диковинный человек освободить Русь. Но что-то ясное и правдивое было в лице этого человека, что-то благородное и открытое в его юношеском порыве, и не поверить ему она не могла. А тут еще этот ослепивший ее своим блеском драгоценный крест,

игравший в лучах солнца всеми своими алмазами, яхонтами и сапфирами, к которому прижался он губами.

И невольно протянула она ему свою белую нежную руку. Сильные пальцы юноши крепко сжали ее.

— Спасибо, боярышня, что поверила, не побрезговала! Авось твое напутствие принесет счастье... И еще прошу, помолись о царевиче Димитрии Углицком! Пожелай здоровья и счастья ему! Пожелай скорого ему царства на троне отцов и дедов, а он братьев твоих и всю родню твою не оставит.

Последние слова незнакомец произнес, уже скрываясь за зеленою зарослью старых берез. Но услышала их Настя, и яркое воспоминание ожгло ее.

Этот голос! Она его узнала! Он же говорил о царевиче Димитрии там, за тыном, на дворе Чудова монастыря. Тоже упоминал, как и сейчас, убитого царевича, ровно живого, ровно воскресшего из мертвых! Что за диво такое? Что за наваждение?

Настя хотела позвать, удержать незнакомца, заставить объяснить ей его неясные слова. Но он был уже далеко.

— Постой! Вернись! — крикнула она, но вместо рыжекудрого юноши перед ней предстал Сергейч.

— Кликала, боярышня? Испужалась, небось! Да и как не испужаться! Ровно из-под земли Гришка, подлюга, вырос. Меня, старика, с ног едва не сшиб! Так и тебя, чего доброго, испужал, не-путевый.

— Какой такой Гришка?

— Да Григорий, что у нас в дворовых мальчишках ходил... Челядинец меньшей. Наш боярин Федор Никитич его от князя Черкасского взял... Опосля по письменному делу пустили... Грамотен был Гришка, и служкой монастырским по грамотейной части его поставили. А теперича Гришка и у владыки в Чудовом монастыре не ужился. Убег, что ли, аль подобру чернецкую рясу скинул... Непоседа он, шатун! Рыжий такой, с бородавками! Нешто не помнишь?

— Помню! Помню, Сергеич!

И действительно, Настя вспомнила, как лет шесть-восемь тому назад, когда она была еще ребенком, на романовском подворье служил у ее старшего брата рыжий мальчик, диковатый, смелый и разбиравший грамоту лучше иного взрослого.

«Но откуда же эта удаль, эта смелость, эта гордая осанка у простого челядинца? Откуда, наконец, у него этот богатый тельник, усыпанный самоцветными камнями? А его речи? А упоминанье

о царевиче Дмитрие? Его странная просьба? Его необычайные слова?»

Настя терялась в догадках. И пленительна, и жутка была эта тайна.

«Феде-брату сказать непременно надо! Нынче же надо! Без отложки! Как вернется с охоты, в тот же час!» — решила девушка и, к немалому огорчению разохотившихся на воле детей, заторопила всех ехать на подворье, домой...

## 9

Когда дети с Настей и челядью вернулись на подворье Романовых, в воротах их встретили Федор Никитич, его брат Михаил и их друзья.

— Тятя! Тятя! — закричали Таня и Миша, высовываясь из окна повозки и протягивая ручки отцу.

— Вот они где, гулены! — приветил их Федор Никитич. Гнедой аргамак ходуном ходил под осанистым боярином, отливая в золотых лучах солнца самоцветными камнями драгоценного чепрака и уздечек. В коротком терлике, в лихо заломленной набекрень мурмолке старший Никитич особенно хорошо выглядел в это утро. Младший его брат, Михаил, богатырь и красавец, во всем напо-

минал старшего. Остальные охотники, князь Черкасский и братья Сицкие, казались простою свитою осанистых бояр Романовых.

— Тятя! Тятя! Возьми меня на коня с собою! — запросился Миша.

— Ишь ты, какой вершник! — улыбнулся Федор Никитич и протянул руки сыну. — Ступай, коли охота!

Дворецкий Сергеич распахнул дверцу повозки. Мамушка подняла на руки Мишу и бережно передала его отцу.

Очутившись на лошади, мальчик словно преобразился. Глаза его заблестели как звездочки.

— Ай да Миша! Чем не воевода! Даром что от земли не видать! — радовался Михаил Никитич.

— И я хочу на коня! И меня посади, тятя! — просила Таня, выскакивая из возка.

— Ой, что выдумала, сударка! Стыд-то какой! — закудахтала мамушка, удерживая девочку за рукав ее летника.

— Ништо, пусти ее, мамушка! — добродушно разрешил боярин-отец. Он свесился с седла, поднял дочку, и теперь Таня преважно восседала подле брата на отцовском коне.

— Ай да вершники! Ай да воеводы! — шутил дядя Михаил.

А вокруг сутились стремянные, конюшие и ловчие, разбирая добычу: серых диких лебедей, цапель, уток и прочую раннюю лесную дичь.

Клекотали кречеты... Лаяли псы... Звенели уздечки охотников... И надо всем этим весеннее радостное солнце праздновало, казалось, свой яркий полдневный пир.

Одна Настя, против своего обыкновения, оставалась задумчивой и печальной. Речи рыжего юноши не выходили из ее головы. Федор Никитич заметил это.

— Что невесела, Настасьюшка? Аль тоже на коня, как деток, и тебя, разумницу, потянуло?

— Ой, братец, что ж это ты меня перед князьями-свойственниками стыдишь?

— А и впрямь, что с тобою случилось, Настя? — озабоченно обратился к ней старший брат. — Поведай, девонька, коли что...

— Поведаю... — начала было Настя и осеклась.

Примолкли за нею и все присутствующие. Разом прервалась суeta на романовском дворе. Стремянные, конюшие, кречетники и сами хозяева с гостями остановились как вкопанные, глядя сквозь открытые ворота на улицу.

По улице скакала с гиканьем и шумом ватага вершников. Скакала прямо к романовскому двору.

Зоркие глаза Федора Никитича тотчас отличили отряд вооруженных стрельцов, несколько приставов верхами, а во главе конных — злейшего врага их, бояр Романовых, Семена Годунова. Рядом с ним ехал окольный Михайл Глебович Салтыков, дальний свойственник Романовых по роду Шестовых. Мучительная тревога охватила сердце Федора Никитича и передалась остальным.

— Не к добру это, коли сам Семен Годунов к нам жалует. Быть лиху! — произнес он вполголоса, так что один только младший брат Михайл Никитич мог расслышать его.

— Настя! — велел старший Романов. — Бери детей да укрой их подальше, чтоб не слышали, не видали ничего. Да жену упреди. А мы здесь с боярином Годуновым потолкуем.

Встревоженная не меньше братьев, Настя взяла Таню и Мишу на руки и стрелой помчалась с ними к женскому терему романовского подворья.

А конная ватага проскакала улицу, миновала крестец и влетела на романовский двор как раз в то время, когда хозяева и гости входили на высокое крыльцо терема.

— Здравствуй, боярин Годунов, — Федор Никитич с достоинством поклонился Семену Никитичу, спешившему с коня. — С чем пожаловал? И стрельцов прихватил, и приставов? Него-

же в гости на романовское подворье так-то являться!

Торжествующая усмешка искривила лицо Годунова.

Он горделиво закинул голову кверху и с бешенством завопил на весь двор:

— Ой, не кичись больно, боярин! Аль мыслишь, что я, верный холоп и смерд царский, подобру в гости наехал к тебе, изменнику государеву?

— Изменнику? — задыхаясь от неожиданности, произнес старший Романов, в то время как младший, Михаил, рванулся вперед и, сжав пудовые кулаки, крикнул мощно:

— Как смеешь ты, боярин, обижать верных слуг государевых!

Семен Годунов попятился при виде молодого силача.

— Потихе, господин честной, — зашипел он на младшего Никитича. — Коли говорю изменник, стало быть, изменник и впрямь. Все вы государевы изменники: и Федор Романов, и Александр, и ты, все братья... И ты, князь Черкасский, и братья Сицкие, и Репнины, и Карповы, и Шестовы — все родичи Романовых, все свойственники ваши... И вот вам от великого государя и великого князя всея Руси указ: немедля вас всех, изменников государевых, взять и на сыск доставить

за то, что на его, государево, светлое здравие умышляли худо. Всем ведомо: у Александра Никитича коренья злые наговоренные в подвалах найдены. Михаил Глебович Салтыков те коренья видел и патриарху доставил. И великому государю то доподлинно ведомо, и он приказал вас всех, изменников своих, судить.

— Ты лжешь, собака! — Федор Никитич с силой топнул ногою.

Теперь на него было страшно смотреть. Его глаза метали молнии, мощная грудь бурно вздымалась под нарядным терликом.

— Он лжет, он лжет! — подхватил младший Романов, а за ним и Сицкие и Черкасский.

Снова злорадная усмешка исказила лицо Годунова.

— Михаил Глебович, прочти указ великого государя! Авось тогда поверят! — Он с торжествующим видом вынул из-за пазухи небольшой свиток и вручил его своему спутнику. Салтыков развернул свиток.

— От государя и великого князя всея Великия, Средняя и Малыя Руси... — читал, откашлявшись, Салтыков громко, старательно выговаривая каждое слово.

И раскаленным оловом падало каждое из этих слов в сердца присутствующих.

Ужас, негодование, гнев наполняли души этих людей, не чувствовавших никакой вины за собою. Целый свиток не существовавших преступлений развертывался перед ними.

Бесстрастно и холодно звучал голос Салтыкова, читавшего о каких-то кореньях, об умыслах Романовых извести царя Бориса и прочих кознях. Давался указ взять их всех, вести на сыск, к допросу, на очную ставку. Упоминалось о цепях и тюрьме, о допросе с пристрастием...

Салтыков не пропустил не единого слова из всего написанного. Когда он закончил, молчание воцарилось во дворе.

Оно длилось бесконечно для невинно оговоренных. Клевета и ложь были слишком сильны, чтобы можно было развеять их сейчас. И Федор Никитич понял это.

— Видит Бог, что наплели на нас наши недруги напраслину! Верю великому государю и полагаюсь на его милость. Не обидит он зря своих верных слуг. Делай, что тебе приказано, боярин.

— Так-то лучше! — прохрипел тот. — Эй, вы! — крикнул он стрельцам. — Берите их, вяжите изменников и ведите на двор к патриарху.

Стража бросилась к боярам... Но первый же стрелец, прикоснувшийся было к Федору Никитичу, отлетел от него на несколько шагов.

— Назад, смерд! Пока не доказано доподлинно об измене нашей на сыске, не моги касаться нас... К патриарху на сыск идем мы слугами царскими, а не преступными изменниками. Сами пойдем. Правы мы, так нечего нам бояться.

И, величавым движением отстранив от себя обступившую его стражу, он первый двинулся по двору, сделав знак брату, князьям Черкасскому и Сицким следовать за собою.

Когда они уже были у ворот, отчаянный вопль пронесся по всему романовскому подворью. От женского терема бежала боярыня Ксения Ивановна.

Расшитый шелком и камнями убрус сдвинулся с головы на сторону. По лицу струились слезы.

— Изверги, злодеи! Куда вы? Куда его ведете? — голосила боярыня, задыхаясь от слез.

— Успокойся, Аксиныюшка, ступай к деткам! К патриарху мы идем обеляться перед великим государем и владыкой... Напрасно наговорили на нас злые люди! Вернемся, я чаю, скоро... А ты деток успокой... Насте поручи их, — наказывал боярин, нежно, но настойчиво отстраняя от себя жену.

— Не оставляю тебя, не оставляю! — повторяла Ксения Ивановна.

Из дома прибежали старуха Шестова, княгиня Черкасская, Настя.

Федор Никитич отыскал глазами Настю в толпе женской челяди, наполнившей воплями и стонами весь двор.

— Настюшка, — пользуясь общей сумятицей, внушал Федор Никитич, — побереги мне Аксиньюшку... Княгиня Черкасская не в себе, боится за мужа. Я тебе жену поручаю... Ее и деток Мишу и Таню сохрани мне, Настюшка... Укрой их от ворогов, и Господь тебе воздаст за сирот, коли мне домой не суждено вернуться.

— Братец! — с отчаянием и болью вскрикнула девушка.

— Все мы под Богом ходим! Обещай, Настя, заменить им меня, коли что!

Синие, залитые слезами глаза ее обратились на брата.

— Обещаю пред Господом Богом от всякого лиха оградить их, Федя!

Обмершую Ксению Ивановну челядь, по приказанию Федора Никитича, бережно отнесла в терем.

Долго смотрел им вслед боярин.

— Пора! Буде прохоложиваться! — грубо окликнул его Семен Годунов и первый выехал за ворота, о бок с Михаилом Салтыковым. За ним, посреди спешившихся стрельцов, двинулись невинно оговоренные бояре.

## 10

В полутемных и прохладных сенях патриаршего двора, помещавшегося между святыми воротами Троицкого подворья и царского двора, на Никольской улице, теснилось уже немало народу, когда Семен Годунов доставил сюда бояр.

Тихим гулом встретила осужденных толпа.

Именитые московские бояре, верой и правдой служившие государям в продолжение двух царствований, с братьями и родственниками уличались в измене!

Было чему удивляться: ведь это те самые бояре-думцы, которые так близко стояли к царскому престолу, которые были любимцами Москвы!

Никто не сомневался, что Федор и Александр Никитичи и их младшие братья оклеветаны перед царем их врагами.

Но выражать открыто свое возмущение никто не посмел. В то жуткое время люди боялись высказывать свои мысли, чтобы самим не попасть в беду.

Долго ждали Романовы и их спутники в сенях патриаршего дома, пока раскрылись перед ними двери соседней, носившей название «передней кельи», комнаты. Когда они переступали ее по-

рог, лучи солнца едва заглядывали сюда, слабо освещая обстановку монастырской горницы.

Посреди нее стоял аналой, на нем лежали крест и Евангелие. Обитые темным сукном лавки шли по стенам. На дубовом столе, покрытом скатертью, лежали вещественные доказательства боярской измены — тот злополучный мешок с кореньями, который несколько дней тому назад за печатью боярина Александра Романова был найден Михаилом Салтыковым в подвале Александра Никитича Романова.

Но ни злополучный мешок, ни торжественная обстановка, ни стены, увешанные иконами, озаренными лампадками, ни кресло самого патриарха, живо напоминавшее о скором его появлении, не обратили на себя внимания Федора Никитича и его спутников.

Их поразило совсем иное.

Лишь только перешагнули они порог патриаршей горницы, из угла ее, гремя ручными и ножными кандалами, поднялся человек.

— Брат Александр! — воскликнули в один голос Федор и Михаил Никитичи.

Брат Александр в цепях?!

Страшное, иступленное мужское рыдание, каждая слеза которого камнем ложится на сердце, было им ответом.

— Видит Бог... Невинно! Подбросили коренья! Оклеветали ложно! Погубили, вороги! — пронеслось по горнице.

За Александром поднялись с лавок и остальные Никитичи, болезненный Иван и Василий. Братья обнялись молча, желая этими объятьями придать силу друг другу...

Приставы молча отвели глаза — от бояр Романовых никто, кроме хорошего, ничего не видел. Их нельзя было не любить. Теперь постигшее их горе не могло не вызвать сочувствия.

Но вот снова распахнулась дверь.

Вошли Семен Годунов и Салтыков, которым было поручено следствие. Вошел дьяк из приказа. Чинно ступая, вошли два монастырских служки и стали по обе стороны внутренних дверей.

Тяжело опираясь на посох, в малом патриаршем наряде, в высоком клобуке, в рясе вишневого цвета с нашивками и в мантии, поддерживаемый служками под руки, вышел из внутренних покоев патриарх Иов, предшествоваемый своим патриаршим боярином. Драгоценный наперсный крест сверкал у него на груди. Ответив величавым наклоном головы на низкие поклоны присутствовавших и осенив всех широким крестом, он при помощи служек опустился в кресло, пере-

дав свой посох патриаршему боярину. Его взгляд остановился на Федоре Никитиче.

— По указу великого государя и великого князя всея Руси Бориса Федоровича приказано мне, недостойному служителю Царя Небесного, допросить тебя Именем Господа Животворящего, боярин Федор, о причастии твоём к окаянному делу единоутробного брата твоего, польстившегося на...

Загребели тяжелые цепи, и возглас Александра Никитича, рванувшегося вперед, глухо раздался в комнате:

— Господь Бог свидетель, что не было во мне окаянного умысла противу государя моего!

Патриарх потрогал седую бороду, тихо покашлял и коротко приказал дьяку прочесть указ. И опять братья Романовы услышали тяжелое обвинение в их преступном замысле против царского здоровья, в ворожбе и измене. Дьяк окончил чтение обвинения. Начался допрос. Патриарх и присутствующие бояре, назначенные для сыска, опросили обвиняемых. Федор, Александр и младшие их братья говорили одно и тоже.

Видит Бог, они невинны... Их оговорили... Никаких умыслов о пагубе «государева корня» они не имели... И присягнуть на том могут хоть сейчас.

Тогда, переговорив с окольным Годуновым, патриарх Иов шепнул что-то своему патриаршему боярину.

Тот с низким поклоном вышел из комнаты и вернулся тотчас обратно. Он был не один. За ним следом проскользнул приземистый широкоплечий человек в дворовом кафтане, с воровато-хитрым лицом.

— Бартенев Второй, поведай, что знаешь, — коротко приказал патриарх упавшему ему в ноги человеку.

Бартенев поднялся с коленей и, не глядя в сторону обвиняемых, быстро заговорил, нанизывая один за другим доносы на бояр Романовых, как это ему указывал Семен Годунов.

Не веря ушам своим, слушали братья. Из слов Бартенева выходило, что бояре Романовы денно и нощно мечтали о том, как бы извести царя и посадить кого-нибудь из братьев на престол московский. И о том будто бы не раз говорили в тайных беседах. И коренья доставали от знахарей и в подвалах прятали те коренья...

И долго бы еще лилась неудержимым потоком речь предателя, если бы молодой богатырь Михаил Никитич не рванулся вперед и со сжатыми кулаками не бросился на доносчика:

— Ты лжешь, собака! Романовы никогда не были изменниками!

Бартенев испуганно шарахнулся за спины бояр.

Грозно сдвинутые брови Михаила Никитича, его пылающие глаза и сжатые пудовые кулаки не предвещали ничего хорошего.

— Успокойся, господин окольничий... Негоже в присутствии его святейшества патриарха такими буйствами пятнать священные палаты, — с едва заметной усмешкой произнес Семен Годунов.

Между тем скованный цепями Александр Никитич говорил Бартеневу:

— Опомнись! Что наплел ты на господ твоих? Ответ перед Господом за то держать будешь!

— Нечем мне ответ держать, боярин! — дерзко отвечал доносчик, пользуясь тем, что четыре дюжих стражника держали Михаила Никитича. — И тебе про то доподлинно самому известно, я чаю, боярин! А что до меня, то я на сем и крест животворящий целовать стану. Прикажешь, владыка, присягу принять? — И быстрые воровские глаза Бартенева обратились к патриарху.

Тот сделал знак.

Патриарший боярин подвел романовского холопа к аналою. Еще минута промедления...

— Бартенев! — невольно снова вырвалось из уст Александра Никитича. — Не бери греха на душу! Вспомни, Господь свидетель!

Предатель взглянул на боярина. Еще миг, и страшная ложная клятва кощунственно прозвучала под сводами патриаршей комнаты...

Тяжелый вздох одновременно вырвался из груди пятерых братьев...

Гул возмущения пронесся по рядам князей Сицких, Черкасских, Шестовых, приведенных вместе с боярами Романовыми на очную ставку.

Старший Романов выпрямился во весь рост и, подняв руку, произнес торжественно:

— Клянусь и я! За себя, за братьев, за родичей своих клянусь! И Имя Бога Живого привожу в свидетели. Оклеветали нас злые вороги! Верными слугами всю жизнь были мы царям московским! И на том за всех нас приму присягу и крест поцелую святой!

И он в свою очередь шагнул к аналою. Но тут же встал между ним и священными реликвиями окольничий Годунов.

— Боярин Романов! Дать присягу всегда успеешь. Нет у меня сейчас государева на то указа... А указано мне тебя с братьями и родичами разделить и отвести куда следует... Не погневись

на том, боярин, не по своему указу творю сие, но по великому слову государеву.

Холодно блеснули глаза Федора Никитича в ответ на слова Семена Годунова. Ни один мускул не дрогнул на его величаво-красивом лице.

Он обвел глазами братьев. Те стояли понурившись.

Они поняли этот новый указ. По навету врагов и ложной присяге подлого, подкупленного, очевидно, кем-то челядинца их обрекали тюрьме, позорным дознаниям, возможно, пытке... Но ни испуга, ни малодушия не проявили братья.

Федор Никитич только глянул уничтожающим взглядом в лицо Семену Годунову, потом перевел глаза на предателя Бартенева.

— Не боишься суда Господня, смерд неверный! Ответишь ты за лживый донос! А ты, боярин Годунов, веди нас куда приказано. Прости, владыко! — И он поклонился патриарху.

Не дожидаясь приближения стражи, он первый вышел в сени. За ним, гремя цепями, двинулся второй брат. Порывистый и горячий Михаил Никитич и Василий с Иваном пошли следом. Страже оставалось только поспешить за ними.

## 11

Недели не прошло со дня разразившегося над всем романовским родом несчастья, а ни самого подворья, ни обитателей его уже нельзя было узнать.

Словно призрак разрушения повеял черными крыльями над еще недавно цветущим уголком Москвы, над «земным раем», каким представлялись москвичам хоромы романовского подворья. Все стихло, затаилось в тяжелом ожидании.

С тех пор как взяли бояр Романовых и всех родственников их, в обширных хоромах близ Чудова монастыря люди жили точно к смерти приготовленные.

Смятение царило и в женском тереме. Старая боярыня Марья Шестова, мать Ксении Ивановны, лежала, сраженная горем. Молодая боярыня бродила, как тень, по обширным горницам, чуть жива от страха за участь любимого мужа. Княгиня Марфа Никитична Черкасская день и ночь томилась по своему князю. Обе женщины, тесно соединенные разразившимся над ними несчастьем, то и дело проливали горькие слезы.

Верные челядинцы всякими правдами и неправдами узнавали о своих государях, боярах, томившихся в тюрьме.

Над теми шло усиленное и быстрое следствие. Шли допросы с пристрастием. Старших братьев, если верить ходившим по Москве жутким слухам, приводили к пытке.

Это усиленно скрывала верная челядь от и без того убитых горем боярынь.

А между тем ряды этой челяди постепенно таяли. Не проходило дня, чтобы не присылалась стража за тем или другим романовском холопом, несчастных уводили в застенки и под ударами батогах допрашивали о несуществовавшей вине их господ.

Враги Романовых не теряли надежды заставить верных слуг под невыносимой пыткой оклеветать бояр, но никто из них не последовал примеру Бартенева Второго. Среди нестерпимых побоев в застенках челядинцы романовские восхваляли верность и преданность царю своих бояр. Израненные, избитые, возвращались они на подворье. Вместо них уводились другие. Не щадились старики, женщины, подростки.

Стоны и слезы доходили до женского терема и сливались со слезами боярынь. Там было еще горше и тяжелее. Миша и Таня разрывали сердце матери расспросами, где их любимый тятя, где дяди Михайла и Александр, почему не видать князя Черкасского, Ивана да Василия Никити-

чей. Женщины как могли отвлекали детей от постигшего их несчастья.

— В дальний поход услали вашего батю, на воеводство, — изошрялась в выдумках Настя, истаявшая за эти несколько дней. — И дяди поехали с ним же... Только к матушке не приставайте. И так ей тошнехонько в разлуке с тятьей, да и бабушка Марья недужна, так уж помалкивайте пока.

Это «пока» звучало зловеще. Светлые глаза Насти прятались за ресницами, как бы опасаясь показать детям выступившие на них слезы. При одной мысли об этом «пока» сердце девушки замирало. Она боялась помыслить о том, что ожидало ее любимых братьев. И вот свершилось...

Накануне чудесного майского утра из застенка вернулся Сергеич, верный дворецкий романовской семьи.

Как и чем мучили старика, об этом молчали его посиневшие, как у мертвеца, губы, не поворачивался произнести язык. Но по бледному лицу, по ввалившимся глазам, по кровавым рубцам, избороздившим все тело, по изодранным клочьям одежды видно было, что несчастный старик пережил мучительное истязание от рук палачей.

Он появился перед Настей в ту минуту, когда она, уложив детей при помощи мамушки, каким-то чудом уцелевшей от пытки, вышла из терема на крыльцо подышать свежим воздухом.

Настя невольно вскрикнула, увидев верного слугу.

— Боярышня... Это я... Верный Сергеич... Не пужайся, во имя Бога, — едва нашел в себе силы произнести старик. — Спешу тебя уведомить... Завтра сюда охальник Семен Годунов, слышал я, боярыню Аксиною Ивановну с матерью брать придет... Нынче услышал я от стражей ненароком. Так хоть бы деток, ангелов невинных, спасти. Мишеньку нашего, касатика ненаглядного, да боярышню Татьяну Федоровну!

Настя ахнула и схватилась за перила крыльца.

— Владычица Небесная! Ее-то за что же? Ну, братьев оклеветали, оговорили злодеи... Но ведь ее-то, беспомощную, за что? Ксюшу-то... Что она могла, какое зло причинить, — в слезах запричитала девушка, закрыв лицо руками.

Сергеич дал выплакаться Насте, потом коснулся ее плеча:

— Боярышня-касаточка, послушай меня, глупого. Пойди ты немедленно, упреди боярынь... Пущай надумают, где бы нам деток схоронить... Неужто и им, пташкам небесным, гибнуть!

Слезы мгновенно высохли на глазах Насти.

— Завтра, говоришь, придут за ними?

— На восходе, говорили...

— О Господи! — Настя, схватившись за голову, кинулась в сени. Но на пороге остановилась и, помедлив, вернулась к старику: — А наши? А Федя что? Михайлушка? Братец Алекса-ша? Ваня с Васей? Слышал о них? Ради Господа, скажи без утайки, Сергеич!

Глаза старика потупились в землю. Резкая морщина прорезала лоб.

— Боярышня, не спрашивай! Сама, чаю, знаешь, в тюрьме несладко!

— В кандалах они! Как тати какие! Верно? — допытывалась Настя.

— Сама, чаю, знаешь!

— А може!.. Може... Их... И... И пытали, Сергеич?

— О Господи! — только и смог ответить верный холоп.

— Пытали! — стоном повторила Настя и пошатнулась, готовая потерять сознание. — Пытали его... дорогого брата Федю! Этого умницу, красавца писаного, воплощенную доброту, гордость Москвы и всея Руси православной!

Но это было минутное малодушие, овладевшее душою девушки. Крепким усилием воли она

принудила себя подавить отчаяние. «Коли не спасти Федю и прочих братьев, — детей уберегу... На том их отцу и клятву давала!» — мысленно решила Настя и пошла к невестке.

— Аксиныюшка! — робко позвала жену брата Настя, появляясь на пороге горницы.

Ксения Ивановна Романова сидела у постели больной матери в летнике темно-гранатового цвета и в таком же домашнем убрусе без драгоценных украшений. Она печально и тревожно взглянула на золовку.

— Что еще случилось, Настя? Уж говори разом, не томи!

Девушка ответила несчастной боярыне таким же печальным взглядом. И приблизившись к ней, стараясь не разбудить только что забывшейся сном больной Шестовой, поведала ей все, что слышала от Сергеича.

Каково же было удивление Насти, когда, вместо испуга и тревоги невестки, она увидела счастливое выражение, впервые озарившее черты Ксении Ивановны за эти тяжелые дни.

— Слава Богу! — вздохнула боярыня Романова. — Кончились наши муки... Коли возьмут и меня под стражу, с Федей увижусь, успокою его, страстотерпца нашего... А там хоть и на пытку, и на плаху, лишь бы вместе с ним.

— Что говоришь, Аксиныюшка, а детки? А Миша с Таней, нешто их не жалко?

— Послушай, Настя, — новым, чудно-спокойным голосом отвечала боярыня Ксения, — всю ночь не спала я нынче. Под утро забылась только... И диковинный сон мне приснился, девушка... Видела я Федю заточенного, закованного в тяжелые цепи. Стоял он печальный и руки ко мне протягивал. А я будто с тобой и с детьми перед дверью его темницы. И говорит мне супруг мой богоданный: «Не кручинься, Аксиныюшка, чему быть, того не миновать. За деток наших не болей. Настя их сбережет, а ежели нам с тобой на роду написано муку принять лютую, так вместе ее примем». Тут подошел некто светлый и велелепный к боярину и накрыл его черной хламидой... А Федя меня за руку удержал, и кусок той хламиды и на мои упал плечи... Как раз детки закричали, Миша и Таня: «Матушка! Тя-тя! Куды вы от нас?» Я и проснулась. Вещий то был сон, Настюшка... Судьбу он нашу указывает. А нешто противу Господней воли пойдешь? Жизнью я бы за деток своих заплатила, лишь бы им все ладно выпало от судьбы. Да коли Господь испытание посылает, нешто против Него можно идти?.. Мишу с Таней тебе передаю да княгине Марфе Черкасской. Блюдите их, родные мои,

пуше глаза своего... И Господь вам воздаст за сирот.

Ксения Ивановна упала в ноги золовке и обняла ее колени.

Смущенная, Настя подняла боярыню. Обняв Ксению, она утешала ее, едва удерживаясь от слез:

— Будь покойна, голубушка-сестрица. Как брату Феде, так и тебе Богом клянусь хранить племянников... Нынче же, как Сергеич сказал, так и сделаю. Уведу деток к княгине Марфе на подворье и там схороню от злых людей... А когда поутихнет все на Москве, переправимся в ваши вотчины костромские, в Домнино, там тебя да Федю с братьями ждать будем, как выпустят из тюрьмы.

Уверенный голос Насти креп с каждой минутой. И эта уверенность передавалась и ее изнемогшей в горе невестке.

— Спасибо, Настюшка! Бог тебя не оставит за это! Вели деток будить, одень их да идите с Господом на подворье Черкасских... Там тайников немало, найдешь, где деток до поры до времени схоронить.

Испуганные расстроенным видом матери и тетки, разбуженные в эту позднюю пору, Миша и Таня долго не могли понять, чего от них требовали взрослые.

Когда их, трепетных и взволнованных, мамушка подвела к матери под благословение, а Ксения Ивановна, вынув из божницы икону, осенила кудрявые головки своих любимцев, оба не выдержали.

— Матушка! Матушка! Куда нас уводят? С тобою хотим остаться, матушка! Где тятя? Куда ты отсылаешь нас? — плакала восьмилетняя Таня, а Миша молча глядел на всех и только нежно прижимался к матери.

Мамушка Кондратьевна бросилась к своему питомцу:

— Касатик мой, желанненький! На кого ты меня покидаешь? Да как мне, горемычной, без тебя-то жизнь мою дожить, скоротать!..

— Молчи, молчи, мамушка. Не рви ты сердце боярыни, — просила Настя, — не видишь разве, и без того ей тошно!

Ксения Ивановна в последний раз обняла детей.

— Идите с Богом! И да будет Господь вам покровом и защитой!

Еще одно последнее объятие, еще поцелуй, и Настя, почти вырвав из рук матери детей, бросилась с ними из терема.

Ночь весенняя коротка в мае, надо было спешить.

На дворе у крыльца ждал их верный Сергеич.

Закутанные в простое темное платье, Таня и Миша, в ночном сумраке, мало отличались от детей тогдашней Москвы. Их нежные белые личики Настя заботливо прикрывала платками, нахлобучила шапки по самые брови.

Сергеич взял за руку Мишу, Настя — Таню. Длинной тенистой тропинкой прошли они сад подворья, проскользнули потайной калиткой на двор Чудова монастыря.

Высокий чернец, заранее оповещенный Сергеичем, пропустил их монастырской лазейкой, и они вышли на крестец. Держась тени строений, молча шли они быстрым шагом, не останавливаясь, не оглядываясь назад.

За ними крался на некотором расстоянии приземистый, широкоплечий, закутанный в темный кафтан человек.

Когда Настя с Сергеичем и детьми миновали последний крестец и вошли в ворота подворья князей Черкасских, незнакомец в темном кафтане тихонько свистнул, подражая свисту перепела. Такой же свист отвечал ему из-за угла ближайшего строения.

— Звал, Александра Матвеич? — раздался вопросительно-хриплый голос.

— Вот что, парень... Выследил я по приказу боярина Семена Никитича Годунова, куда улети пичужки, да караулить-то их мне недосуг. Так ты заместо меня пичужек блюди. Денно и ночью следи за ними и чуть что — к боярину Годунову беги. Он службы твоей не забудет. Только выпустить их не моги... Беда, коли упустишь. Слышал?

— Слышал, Александра Матвеич, не сомневайся. А что до службы, так тобою и без того много довольны.

— То-то, доволен! Мне одному не управиться, делов-то понавалило, парень! Небось и сам-то боярин Годунов упарился, ровно в бане, а не то что мы с тобой, смерды его.

Взошедший месяц глянул ему в очи. Это был Бартенев Второй, предатель романовской семьи.

В то же время в женском тереме разоренного подворья распласталась на полу перед божницей боярыня Ксения Ивановна.

— Господи Великий и Милосердный, — молила она с закаменевшим от отчаяния лицом. — Тебе все ведомо, все доступно... Вели мучить, пытаться меня, грешную рабу Твою... Но пощади их, малых, невинных... Спаси, сбереги деток моих, Мишеньку, Танюшу... Царица Небесная,

Владычица, к Тебе прибегаю! Укрой их Покровом Пречистым Своим! Дай им покой, дай счастья. Владычица, огради их во Имя Сына Твоего от всяких невзгод и напастей!

Слезы выступили на глазах боярыни и покапались по ее измученному лицу, тяжелые, душу разрывающие рыдания огласили обширные горницы романовского подворья...

Когда испуганная дворня сбежалась, боярыня лежала в глубоком обмороке.

## 12

Полная тревожных и мучительных ожиданий, потекла жизнь Насти и детей в хоромаш их сестры и старшей тетки княгини Черкасской. Сергеевич, едва оправившись от перенесенной пытки, деятельно собирал по Москве сведения о своих боярах, ловил слухи и вести и приносил их на черкасское подворье. Нерадостны они были...

С ужасом узнали княгиня Марфа и Настя, что забрали боярыню Ксению и ее престарелую больную мать Марфу Шестову и заточили их в тюрьму. Настя кинулась было к сестре Ирине, бывшей замужем за царским племянником, Иваном Годуновым, просить защиты у царя через ее

мужа, но слабая, робкая Ирина только руками замахала на нее:

— Да что ты, сестрица, да нешто можно? Да нешто государь послушает?.. Да еще мужа моего под сыск подведешь. Погоди малость, суд решит! Коли невинны наши...

— Суд решит! Коли невинны! Да нешто ты не ведаешь, что невинны они? — рыдала Настя.

Ирина отчаивалась не меньше ее. И сестры, вдоволь наплакавшись, расстались, истерзанные, раздавленные горем.

И вот не прошло и нескольких недель со дня несчастья, как Сергеич, вернувшись поздно ночью откуда-то, таинственно вызвал Настю в сени.

По убитому виду старика Настя поняла сразу, что случилось нечто непоправимое, жуткое.

— Что? — могла только выговорить она.

— Судили их, бояр наших, судили!

— Братьев? На смерть осудили?

— Господь милостив, боярышня... Не на смерть, а в ссылку вороги, злодеи ненавистные, ссылают, немедля, и с детками, и с супругами проститься не дают... Василия и Ивана Никитичей на Пелым усылают, Михайлу Никитича в нарымские леса, в глушь тайги сибирской непроходимую, князя Бориса Черкасского — на Белоозеро... Князя Сицкого — в Астрахань.

— А Федю? Федю, брата любимого? Федю куды упрячут злодеи? — вопрошала Настя.

— Нет боярина Федора Никитича на свете боле!

— Умер? — Настя схватилась за голову.

— Жив, боярышня, но не жив для мира... Постригли силком боярина моего Федора Никитича... Нет его боле. Боярин Федор Никитич теперь чернец, инок Филарет. И ссылают его далеко, в Антониево-Сийскую обитель.

— Пытали! Постригли! Ссылают! И кого же!! Федю родного! Федю, брата любимого! А Аксиныюшку? Боярыню твою? Ужели и ее не пощадили злодеи? — едва нашла в себе силы выговорить Настя.

— И боярыни нет боле, Аксиныи Ивановны, старица Марфа она нынче... И ее под рясой чернички, в Заонежье, на погост ссылают. Ефимью Никитичну, твою сестрицу, в Сумский острог, в Никольский девичий монастырь... Никому нет пощады... Никого не пощадили злодеи...

И Сергеич поник седеющей головой.

Настя тяжело дышала, прислонившись к стене. Горе, как ветер былинку, согнуло молодую цветущую девушку.

— А детки? Сергеич? Невинные детки? Что с ними будет?

— Ищут, кажись, и их, боярышня... Укрыть их до поры до времени надо... У меня в Москве приятель есть. К нему отведем поутру деток... Княгиня Черкасская, Марфа Никитична, недолго на свободе пробудет. Слыхал я, что ее с князем на Белоозеро ушлют тож... Так здесь не след им оставаться и тебе, боярышня... Поутру со мной пойдешь... На Москве-реке есть слободка. Там мой кум-приятель мельничает. Туда вас и проведу...

— Спасибо, Сергеич... Там и пробудем, а как поутихнет, в костромские вотчины романовских деток перевезем, — со вспыхнувшей было надеждой произнесла Настя. Но не суждено было расцвести и этой последней надежде в душе девушки.

— Нет у бояр Романовых ни вотчин, ни подворья даже, — с тяжелым вздохом ответил старик. — Все имение бояр, все люди, все поместья, всю казну отписали на царя Бориса! — закончил Сергеич.

— А! — могла только простонать Настя. — Детей не только отца и матери лишили, но и крова и имущества. О, злодеи! — с неожиданной силой выкрикнула девушка, и обычно кроткие глаза ее посуровели.

Потом Настя прошла неслышно в постельную горницу, где спали дети.

Танюша и Миша разметались во сне. Им виделись, должно быть, сладкие сны... Настя присела около широкой постели княгини, отданной детям, и долго с тоскою смотрела на них.

Вскоре, однако, усталость сделала свое дело. Сама не замечая как, девушка забылась. Это был тяжелый сон, исполненный страшных, темных образов и видений.

Какие-то стоны слышались ей. То плакала Ксения Романова... То стонал брат Федор, постригаемый насильно... Или то дети бедные, маленькие, осиротевшие, звали своих родителей?..

Вдруг огромная черная птица влетела в горницу и, затрепетав крыльями, коснулась Настина плеча. Девушка вскрикнула и открыла глаза. Вся горница была полна людьми...

Стражники держали княгиню Марфу Никитичну, которая рвалась к ней, Насте, двое стрельцов уносили куда-то отчаянно рыдавших детей.

А перед самой Настей как из-под земли вырос боярин Семен Годунов.

— Детей отдайте! Злодеи! Изверги! Куда вы их! Оставьте! Не трогайте! Невинных детей оставьте! — исступленно закричала она, бросаясь вслед стрельцам.

Семен Годунов преградил ей дорогу.

— Потише, боярышня! Не кричи! Не ровно надорвешь голосок свой сладкий! Племянникам твоим с сестрою худа не будет... Не бойсь! Чем вопить-то без толку, пособи обрядить деток по-вольготней да княгиню Марфу обряди... Потому от великого государя указ вышел, немедля чтобы князя Бориса Черкасского с княгинею да тебя с племянниками на Белоозеро, в дальнее Мурьильское селение послать... Сей же час, слыхала? И не медли!

Настя поняла внезапно, что ее с Сергеем план спасения детей рухнул, что все пропало.

Детей сошлют в далекий край, к студеному Белоозеру, где они и не вынесут, может статься, тоски по родителям, суровой погоды и заточения. Но у Белоозера живут же люди! Может, среди них убережет детей она, Настя, ненаглядных племяшек своих. Убережет и укроет от всякого лиха. Недаром клятву, нерушимую, дала она на том брату и его жене.

Отчаяние девушки сменилось вдруг огнем энергии, несокрушимой воли.

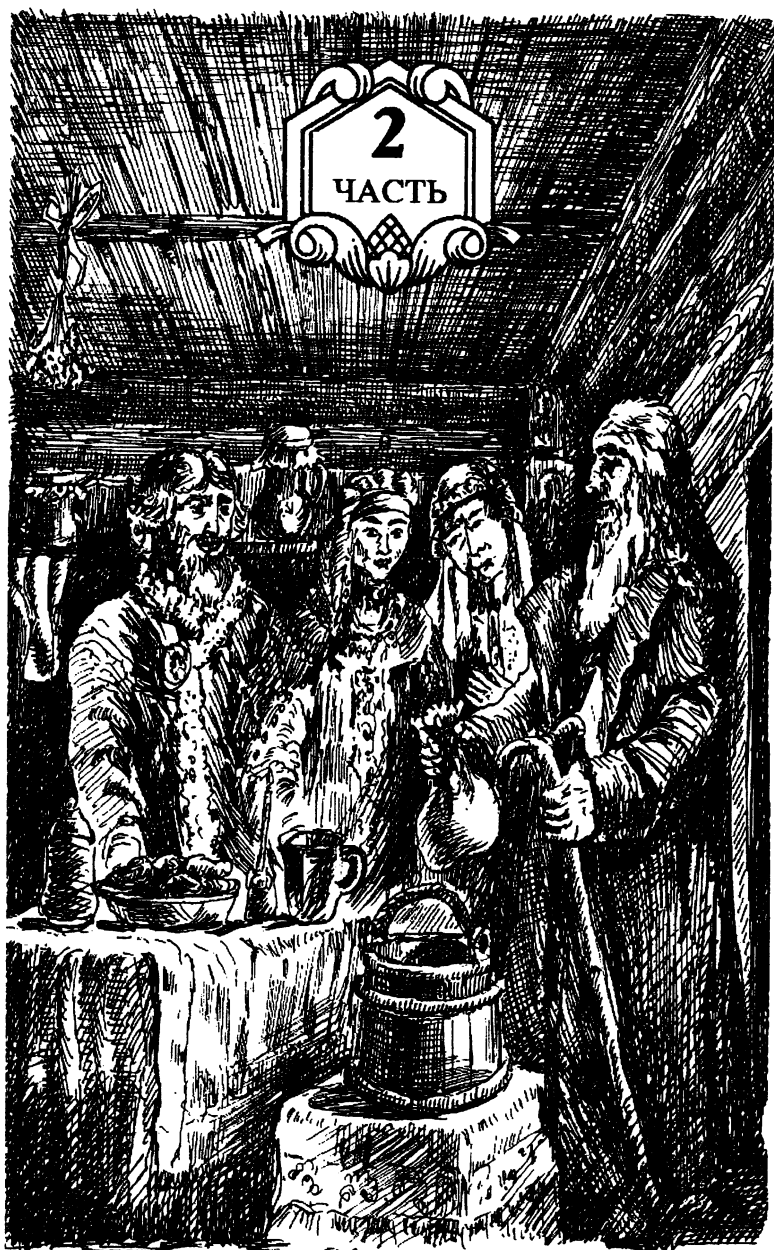
— Вели твоим людям отпустить мою сестру, боярин... Да детей сюда привести... Коли обрядиться в дальнюю дорогу всем нам надо, нечего время попусту терять. Вели всем выйти... А мы с сестрою и детьми, как будем готовы, скажем.

Властным движением руки она указала на дверь. Стрельцы вышли.

Когда же Таня и Миша вбежали в горницу, сестры нашли силы успокоить и утешить детей и стали готовиться в дальнюю дорогу.



2  
ЧАСТЬ





Бог, по образу Своего небесного еди-  
ноначалия, устроил на земле царя; по  
образу Своего вседержительства — ца-  
ря самодержавного; по образу Своего  
царства непреходящего, продолжающе-  
гося от века и до века,— царя наследст-  
венного.

Народ, чтущий царя, благоугождает  
через сие Богу, потому что царь есть уст-  
роение Божие.

Единение царя и народа в истинной ве-  
ре есть животворный источник их госу-  
дарственного единства и силы.

*Святитель Филарет,  
митрополит Московский ( 1783-1867)*



## В ОПАЛЕ

### 1

**Г**лухо шумит и по-осеннему волнуется многоводное Белоозеро. Резкий, холодный ветер то и дело набегает с севера и тревожит, шумит, треплет и без того беспокойную гладь.

Густой черный бор, наполовину хвойный, наполовину лиственный, непроходимый, протянулся по всему побережью. Деревья, водная ширь да столетние деревья... Там, где как будто реже срослись темные чащи, где образуется небольшая выбоинка-полянка, прилегающая к воде у самого берега студеного озера, стояла бедная маленькая деревенька в несколько изб.

Это Мурьинский погост, отделенный дремучими лесами от всякого жилья человеческого.

В одной из изб погоста, недалеко от церкви, за-светился ранний огонек. Еще только сентябрь, а уже темно по-осеннему. Пятый час на исходе, а длинные темные сумерки уже плотным кольцом обхватили и Белоозеро, и погост, и окружающую их чащу. Впрочем, там, в чаще, всегда царит непробудная ночь. Оттуда долетает порою вой волков. В зимние непроглядные ночи волки подходят к самому погосту, сверкая огнями голодных и хищных глаз.

Этот вой часто слышится ночью, тревожа немногих жителей Мурьинской деревеньки, бедных рыбаков.

Их избушки разбросаны по берегу и стоят в стороне от большой неказистой избы, освещенной сейчас огнем лучины. Свет ее скудно озаряет стены закоптелой избы, голые лавки и стол, накрытый убогой скатертью, иконы в переднем углу да за ситцевой занавеской кровать. К чистой половине примыкает черная изба с печкой, еще более убогая, нежели переднее помещение.

Холодный ветер врывается в сени сквозь плохо прилаженную дверь и заставляет жителей то и дело съеживаться. Их здесь пятеро взрослых с детьми.

Опальный князь Борис Черкасский сидит, погружившись в печальную думу, в переднем уг-

лу избы. Как ближайший свойственник Никитичей, женатый на их сестре, он пострадал не меньше самих Романовых. Следы пытки навсегда сохранились на его теле под стареньким кафтаном, так мало похожим на дорогое боярское платье, которое он носил у себя в Москве. Его жена Марфа Никитична хлопочет об ужине вместе с Настей.

Кое-какая рыбешка да черный хлеб с квасом — вот и весь ужин опальной семьи.

Миша и Таня, сосланные на берег Белоозера, в этот пасмурный и нелюдимый край, вместе с дядей Борисом да двумя тетками, быстрее взрослых свыклись с неволей. Если бы не тоска по родителям, с которыми им даже не дали проститься и о судьбе которых они ничего не знали, да не лишения, жизнь опальных боярчат протекала бы довольно сносно. Здесь, пользуясь своим положением детей, они имели относительную свободу, бегали с утра до сумерек по берегу, делали суденышки из лучины и пускали их на бечевке в озеро. Собирали разноцветные камешки на берегу, ловили с рыбацкими ребятишками рыбу. А собирание еловых и сосновых шишек в лесу, а ловля белок — это ли не было развлечением для маленьких, смутно сознающих постигшую их беду детей!

Но грусть взрослых, дяди Бориса, тетки Марфы Никитичны и их ненаглядной Настюши невольно передавались и детям. И как-то особенно сильно им взгрустнулось нынче.

В июле, в самый разгар лета, привезли их сюда московские приставы и поместили в этой избе. Поблизости устроился их досмотрщик — пристав Змей Горыныч, как его называет Настя, и следит за каждым шагом не только взрослых, но и детей. И всячески урезает их в еде и одежде.

Осенний ветер воет совсем по-зимнему: с гиканьем и присвистом. В избе холодно, несмотря на топку. Что-то будет зимой, когда хватят настоящие крутые морозы?!

Князь Борис вздохнул от этой мысли и поднял голову, на которой за последние месяцы испытаний густо засеребрилась седина.

Марфа Никитична услышала этот вздох, подошла к мужу и любовно положила руку ему на плечо.

— Бог долготерпелив и милостив, Борисушка! И чует сердце мое, вызовет нас из беды.

— Не себя жалко... К ним жалость берет, Марфуша, — князь указал на детей, о чем-то оживленно шептавшихся в уголке избы в ожидании ужина. — Настю жаль... Молода она еще... Не такой доли она достойна... Первая, почитай, среди красавиц московских...

— Тише! Идет она...

Действительно, с дымящейся миской рыбной похлебки из другой половины избы вошла Настя. Несмотря на бедный наряд, исхудалое личико и тронутые ранней печалью глаза, опальная боярышня была хороша по-прежнему. Сейчас взгляд ее с мягким выражением материнской ласки остановился на детях: «Детушки бедные, при живых родителях сиротки!»

— Ну, вот и варево... Не судите стряпуху. Сготовила как сумела... Кушайте на здоровье... Танюша, Мишута, пожалуйста поскорее! Уж такая ушица, что сама в рот влетит. — Она резала хлеб и раскладывала его кусками на столе.

Марфа Никитична ласково взглянула на сестру.

— Солнышко ты наше красное! Уж и не знаю, что было бы с нами, кабы не ты! Ах, Настя, Настя! Одна ты подбодрить да печаль и тоску прогнать умеешь! Не оставит тебя за это Господь!

— Полно, полно, сестрица! Всюду Бог, где люди... Уху похлебаем да ляжем пораньше спать. День-то и покороче станет... А наутро я к Михалихе, рыбачихе, сбегая, она мне холста посулила Мишеньке на рубаху дать да Танечке на летник отрезать.

Простая рыбачка давала им то, в чем отказывал пристав. Дети обносились, им нечего было надеть.

Все имущество Романовых отписали царю. Мало того, в самом необходимом урезывали их, молока и яиц не давали детям. Ужасная опала сказывалась во всем.

— Завтра поутру, как вернусь от Михалихи, в лес пойдем за грибами! — посулила обоим племянникам Настя.

— А волки? — не то испуганно, не то радостно проронила Таня.

— Да нешто они сунутся! Я рогатину возьму! — решительно заявил Миша.

— Ах ты, вояка-воин! — рассмеялась Настя.

Княгиня Марфа помертвела, услышав этот беспечный смех, раздавшийся колокольчиком по всему погосту.

— Нишкни! Нишкни! Не приведи Господь, услышит пристав, в Москву донесет! Отпишет еще, что опальным дюже весело, коли смеются... И еще чего доброго, пуще урежет нас во всем. Слышь, никак идет уж сюда кто-то. Должно, господин пристав Змей Горыныч жалует к нам. Борисушка, — обратилась она к мужу, — выйди к нему, желанный... Пусть сюда не входит... Видеть его не могу!

Князь поднялся с лавки и вышел в сени.

Женщины и дети притихли, ожидая его возвращения. Нечего и говорить, что им было не до еды. Привезший их в эту глушь пристав жил бок

о бок с ними, и не было часа, чтобы не заглядывал к ним в избу. Пристав следил не только за каждым шагом, но и за каждым ответным словом опальных и аккуратно отписывал обо всем в Москву.

Понятно, с каким чувством относились к нему мурьинские узники!

И сейчас Марфа Никитична с Настей чутко прислушивались к тяжелым шагам, раздававшимся в сенях.

Но вот распахнулась дверь... и вместо предполагаемого пристава, их мучителя, следом за князем Борисом вошел сгорбленный старик с дорожной котомкой за плечами, с посохом в руке. Огромная седая борода начиналась чуть ли не от самых глаз, скрывая черты его лица. Рваная шапчонка была тесно надвинута на глаза.

Старик истово перекрестился на красный угол, потом отдал поклон хозяевам.

Затем неведомый пришелец выпрямился, вернулся обратно в сени, тяжелым засовом задвинул входную дверь и подошел к сидевшим за столом хозяевам... Взмах руки, и белая длинная борода сократилась наполовину, лицо помолодело.

— Сергеич!

Миша и Таня стремительно вскочили со своих мест и бросились к старику.

— Сергеич! Ты ли это? — в один голос воскликнули князь, княгиня и Настя.

— Я, батюшка князь, я, боярчата мои милые, цветики мои! — старый дворецкий опустился на колени перед опальными и земно поклонился им. — Приплелся-таки из далекой Москвы вас проведать... Сюды к вам, под видом странника, пробрался... Мочи нет, сердце защемило, узнать про житье-бытье сердешных деток да боярышни ласковой... И о том поведать государям моим Филарету Никитичу, иноку моему, да боярыне инокине Марфе Ивановне.

— Как?! Так, стало быть, ведомо тебе, где Федя и Аксюша? Куда заточили их злодеи? — Настя забыла в эту минуту о присутствии детей.

— Говори, старина, где наши? — быстро спросил князь Борис.

Сергеич поднялся на ноги и, устремив глаза на образ, произнес со слезами:

— Слава Господу Богу нашему, проведали мы, романовские верные своим боярам холопы, куда замчали наших господ. Боярин Филарет Никитич пострижен далече отселе, в Антониево-Сийской обители томится, боярыня в заонежских лесах на Толвуе... А до других братьев и не добратся даже, еще дале они... К господам моим, я верный смерд их, зарок дал доплестись, от деток и сестриц им

снести восточку. Чай, замучились, не ведая о Мишеньке и Танюше, боярчатах своих... Давненько я так-то из Москвы вышел... Всем холопам романовским ведомо, куды и зачем я пошел. Все наших бояр помнят и живот свой готовы за них положить. И не я один, другие то же решили. Как вернусь я на Москву, они пойдут сюды на Белоозеро, отселя на Толвуй, с Толвуя в Антониево-Сийск... Восточки носить от деток к отцу и матери, от жены к мужу, от сестриц к брату станут... Потому, покуда жили мы у бояр в тепле и холе, как в раю, все нам завидовали, а теперича, как грянула гроза над государями нашими, теперича настало время и нам, холопам, добром да заслугой старое добро хозяевам, отцам родным нашим, оплатить.

Голос Сергеича задрожал и пресекся.

Князь Борис поднялся со скамьи, подошел к старику и обнял его.

— Спасибо, спасибо тебе, старина. Не за себя, за деток благодарю, за жену мою бедную... Господь тебе и другим челядинцам, слугам верным, воздаст сторицею за все... А мне нечем тебя наградить. Сам видишь, последнего нищего на Москве мы сейчас беднее.

И он, махнув рукой, поспешно вышел в сени, чтобы не показать своего малодушия жене, Насте и детям.

Миша и Таня тем временем усадили Сергеича на лавку, несмотря на все его возражения, заставили его чуть ли не силой отведать ущицы, расспрашивали об отце и матери, давали поручения, что надо от них передать родителям.

Настя с княгинею в свою очередь узнавали, что стало с московскими имениями и их людьми, с подворьями и дальними вотчинами.

Старик говорил без утайки все, что знал.

Разорены имения, отписаны в казну. Вотчины тоже, а прежние романовские холопы бродят нищею братиею по Москве без дела, без хлеба, потому как указом царя Бориса велено всем их на службу не брать.

— Господь Милостивый! Да за что же? За что? — не выдержала княгиня Марфа и тихо заплакала, прижимая к себе детей.

Но предаваться печали не было времени. Вошел князь Борис и тревожно сообщил:

— Пристав дознался, что у нас странник прохожий. Сюда жалует. Надевай свою бороду, Сергеич... Ничего не поделаешь, узники мы...

Когда пристав вошел, в углу под образами сидел старичок, согнувшийся в три погибели, и повествовал о дальних Соловках, куда будто бы лежал его путь.

Пристав подозрительно оглядел присутствовавших и, потоптавшись на месте, вышел.

С его уходом долго еще не ложились спать опальные.

Затушили лучину, чтобы не привлекать внимания стражника, и впотьмах долго беседовали с верным слугою, навестившим их в этой глуши.

Таня и Миша уже крепко спали на лавке, а князь с женою и Настей все еще совещались с Сергеичем о том, как ему поскорее дойти до заонежских лесов к бывшей боярыне Ксении Ивановне, нынешней инокине Марфе, а оттуда к заточенному иноку Филарету в Антониево-Сийскую обитель.

## 2

Суровая зима, выдавшаяся в 1602 году, была еще жестче в далеких заонежских лесах холодного, негостеприимного Толвуйского края. Но там, где, окруженная непроходимую чащею лесов, раскинулась лесная деревенька за озером Онежским, в нынешнем Петрозаводском уезде, там тише и спокойнее кажется зимняя студеная непогода. Там, удерживаемая крепкой стеной великанов-де-

ревьев, реже прорывается в селение Толвуйского погоста злая, крикливая старуха-метель и не так жестоки буйные ветры, пенящие под осень студеный простор Онежского озера.

Естественной стражей окружают Толвуй заонежские леса. Привольно живет среди них жителям Толвуя. Онежское озеро изобилует рыбой, леса — пушным зверем. Бедствовать среди этого земного обилия и при желании трудно.

И на характере жителей Толвуя отразилась эта благодать. Они гостеприимны, радушны и добры. Они готовы всех принять и обласкать. В их крепко сколоченных избах тепло и уютно... И не только о себе позаботились они. На самом краю селения, в небольшой избушке, находящейся подле домика священника Ермолая Герасимова, живет знатная опальная боярыня, постриженная еще в Москве в инокини волею царя Бориса.

И сам священник, отец Ермолай, и семья его, и все небольшое население Толвуя всячески заботится о подневольной гостье.

Если не в меру суров и взыскателен на Белозере мурьинский пристав к ее детям, к золовкам и свояку, то стражник инокини Марфы заглядывает к ней с дозором только по долгу службы. Не препятствует отцу Ермолаю со всей его паствой заботиться о знатной узнице, судьба которой

невольно возбуждает к себе всеобщее участие и жалость.

Саму узницу редко кто видит на погосте.

Изредка только за невысоким тыном небольшого дворика таинственной избушки мелькнет темная фигура в платке. Или же к маленькому слюдяному оконцу тесно приникнет бледное печальное лицо. Зато у узницы все есть в ее скромном жилище. И священник, отец Ермолай, и поселенцы доставляют ей сюда и рыбу, и яйца, и хлеб.

Все сердца невольно привлекает к себе эта невинно пострадавшая затворница своей печальной участью, своей горькой судьбою, хотя редко с кем вымолвит слово инокиня Марфа. Наклоном головы только благодарит она за приношения поселенцев. И молчит, замкнутая, далекая в своем безмерном горе. И только мечется-ходит по избушке в непогоду, а в ведро — по крошечному дворику, с тоскою по детям, по мужу, так безжалостно отнятому у нее.

После пасмурной, вьюжной и студеной ночи на Онежском озере в заповедных непроходимых лесах проглянул морозный январский денек.

Пользуясь этим коротким светом, старлица Марфа, еще недавно именитая боярыня Ксения Ивановна, вышла во дворик.

Зелено-белой сказочной красотой, весь запущенный снегом, глянул на нее непроходимый хвойный лес.

Стоя на высоком крыльце, через верх частокола Марфа увидела убегающие вдаль тропинки, бесконечную чащу великанов-деревьев, стерегущих как будто от всего прочего мира это далекое и маленькое селение. Там дальше, закованное толстыми льдами, спит Онежское озеро.

Старика Марфа стояла перед образами... Одна и та же мысль терзала ее душу... Кто знает, может быть, ее муж и дети глядят точно так же на зеленую чащу леса и чувствуют студеное дыхание озера... Может быть, и ближе они к ней, нежели она думает. А может, и нет их на свете боле!

Мутится разум от этой мысли. Но слез, спасительных слез нет в ее глазах. Если бы могла она избыть хоть часть тоски и горя слезами!

А уста шепчут:

— Мишенька! Таня! Супруг мой желанный, Федя, мученик! Дети! Где вы? Увижу ль вас когда-нибудь хоть разок единый?

Затуманенные горем глаза невольно обращаются к окошку.

Человек бредет по лесной тропинке, то появляясь, то исчезая за деревьями. Марфа вышла из избы, всмотрелась.

Вот ближе, ближе подходит он к селению. Можно уже различить седую бороду, дорожную котомку.

Незнакомец поднимает руку, делает какие-то знаки посохом. Сердце старицы замирает...

Быстро вспоминает Марфа, что в ближайшей избе после сытного полдника отдыхает в этот час пристав, что поселяне ушли на ловлю пушного зверя всем погостом, что ежели отец Ермолай и увидит что-либо, то покроет ее перед стражником, что в одном месте плохо прилажено бревно изгороди, образуя щель, — все это припоминается ей. Быстро отвечает Марфа неведомому страннику движением руки.

Вот он вышел из чащи, обогнул селение, вот он близко-близко от ее избы... Вот старческое покашливание за изгородью двора.

— Матушка, государыня боярыня Ксения Ивановна, признаешь ли?

Усталое лицо показывается сквозь изгородь... Но голос знакомый и взгляд тоже...

— Сергеич! Ты ли это, Сергеич?

— Я, матушка, государыня, боярыня, самолично поклон тебе принес от деток твоих... От Танюши с Мишенькой. Все слава Тебе Господи, поживу и поздорову!

— Живы! Здоровы! Детки мои! Слава Тебе, Господь Милосердный, и Тебе, Владычица Небесная!

Радость живительна... Радость окрыляет... Марфа, прильнув к забору, передает верному слуге все, что сказать, что отнести от нее детям, мужу. Сергеич обещал, что доберется до монастыря, где находится Филарет, дойдет до заточенного инока.

Зимние сумерки падают, сгущаются незаметно. Пора уходить Сергеичу. Сейчас вернется из леса народ. Быстро достает Марфа из-за божницы крестик, ладанку с мощами и кипарисовую иконку.

— Вот, Сергеич... Ладанку и иконку отнеси деткам, ежели Господь приведет тебя к ним, а крестик — супругу моему, иноку Филарету, коли Бог поможет, передай. И скажи им, что денно и нощно тоскую по ним, родимым...

В то же самое время на глухом и пустынном острове, образованном рекой Сией и озерами, в скромной келье Антониевой обители, низко склонившись над столом, сидел инок, прислушиваясь к стонам зимней вьюги.

Никто бы не узнал в этом старце недавнего молодого красавца, старшего Никитича. Горе, печаль, незаслуженная обида — все это провело глубокие борозды по его лицу. Засеребрилась борода, ввалились соколиные очи...

Филарет прислушивается к вою ветра и свисту метелицы... Холодно и неуютно в его пустынной келье-тюрьме. Нет выхода отсюда, только в церковь, где стоит он на клиросе обедни, всенощные и заутрени, отделенный от братии Антониево-Сийской обители...

Отойдет церковная служба, и снова в келью-тюрьму возвращается старец. И бесконечно тянутся дни и бессонные ночи. Неведение томит наболевшую душу. Иногда отчаяние и горе темною мутию затопляют сердце. Он бросается к божнице и молится до рассвета, всю долгую ночь...

Но лишь только заслышатся его шаги, измеряющие келью, к дверям приникает жадным ухом пристав Богдан Воейков. И слова инока доносятся до ушей его стража:

— Милые мои детки, маленькие, бедные! Кому их кормить и поить? А жена моя бедная, жива ль? Где-то она? Чаю, туда ее замчали, что и слух не зайдет! Мне-то уж что надобно? То мне и лихо, что жена и дети... Как вспомнишь их, так словно кто рогатиной в сердце ударит...

Наслушавшись, пристав Воейков шлет донесения царю Борису в Москву.

Там, в Москве, после знойного, горячего лета 1601 года, какого еще не помнили московские люди на своем веку, начались сильные не-

дороды. Зной высушил нивы, не уродился хлеб, и жуткий гость пошел навещать русские города, села и деревни. Страшный гость — голод постучался и проник за стены Москвы. Люди теньями бродили, тщетно ожидая откуда-нибудь помощи. Но проходили дни за днями, проходили месяцы, и положение оставалось все то же.

Вопли и жалобы проникли и в царские терема.

Царь Борис приказал для всей Руси Великой раздавать ежедневно в Москве деньги голодающим. Разнеслась об этом крылатая весть по всему государству. И со всей земли Русской хлынул в столицу голодный народ.

Хлеба и денег не хватало для раздачи. Повальные болезни свирепствовали на Москве. Люди гибли без числа и счета. А суровая зима сулила уже и новый неурожай.

— Кара Божия! — волновался народ.

Борис лучше других чувствовал это.

Народные бедствия переплелись у него с семейным горем. Умер датский королевич Яган, жених дочери, царевны Ксении. А для честолюбивого царя это было большим ударом. И впереди ждал его еще новый, вдесятеро горший удар: за пределами Руси, на литовском рубеже объявился царевич Димитрий Углицкий...

В Угличе, оказалось, был несколько лет тому назад зарезан поповский сын вместо маленького Дмитрия. Царевича же укрыли от убийц добрые люди. И теперь, выросший, возмужавший, он, очутившись в Литве и заручившись сочувствием польской знати, грозным призраком грядущего несчастья являлся царю Борису.

Смутно доходили до высот Московского Кремля темные слухи из Литвы о дерзком юноше, назвавшемся царевичем Дмитрием, спасенным чудом. И слухи эти тревожили царя Бориса, лишали его спокойствия, страшили безмерно. Кто бы ни был тот юноша, настоящий ли царевич или наглый, предприимчивый самозванец, он был одинаково жуток для Годунова. Горести народные, голод, мор, постоянные расправы на сысках с лучшими людьми, любимцами народными, какими являлись Романовы, Репнины, Черкасские, — все это говорило не в пользу царя Бориса, угнетало и волновало его народ.

— Кара Божия! — неслось гулким прибоем по Руси, и этот слух-прибой разбивался у самого подножия Московского Кремля.

Чтобы хоть сколько-нибудь примирить народ с собою, Борис богатыми милостями и льготами старался загладить этот неудачный период своего царствования. И в то же время новое решение

о большей еще милости, ввиду надвигавшегося из Литвы бедствия, назревало в его душе.

## 3

Целый год прополз тягучею, бесконечною чередой томительных дней для мурьинских опальных. Стоял ясный, погожий денек короткой северной осени. Редкое в этом сумрачном краю солнышко выглянуло нынче особенно радостно.

— Вставайте, подымайтесь, лежебоки, — будила рано поутру проснувшаяся Настя своих маленьких племянников. — Радость вам несусь! Небось как услышите, сердечки запрыгают, заликуют!

Таня и Миша, заспанные и удивленные веселым настроением их тетушки, вскочили с лавки. Таня, подросшая за этот год, вопросительно и серьезно смотрела на Настю.

— Какая там радость! Чего уж! Дяде Борису неможется, тетушка Марфуша с ног сбилась, — тоном взрослой произнесла со вздохом девочка, перебирая русую косичку.

— Ты глянь-ка, смеется Настюша! — весело объявил Миша. — Знать, и радость будет!

— Ай да Мишенька, люблю за догадку. — Настя взъерошила кудрявую головку мальчика. —

Правду говорит ваша Настя, детки. Нынче наш Змей Горыныч, пристав, в Белоозерскую обитель уплыл. Мурьинские сказывали. Стало быть, мы одни, без присмотра, в лес за грибами махнем... Целое лукошко наберем, дяде недужному с тетушкой похлебку сготовим знатную, только, чур, не отставать да от Насти не убежать далеко... А то не возьму! — Она строго погрозила пальцем.

Но это не подействовало на детей. С веселым визгом бросились они на шею тетушке.

— В лес за грибами! В лес за грибами води нас, Настюша!

— И то, уведи их погулять на воле, Настюша. Князю Борису неможется, всю головушку с бессонья разломило. Покуда погуляете, ему и полегчает в тиши-то, — вставила свое слово княгиня Марфа.

Быстро собрала Настя обоих детей, ничуть не отличающихся одеждой от крестьянских ребят, взяла лукошко, сама повязалась платком, как мурьинская рыбачка.

— К полднику не ждите! Не помрем с голоду, три краюхи с собой взяла! — крикнула она с крылечка старшей сестре.

Княгиня Марфа Никитична долго еще стояла у порога, глядя им вслед.

— Пускай порадуются хоть сегодня, погуляют на воле, пока пристав, злодей наш, в отлучке. Пу-

скай без дозора пробудут хошь единый денек! Не-легко им, беднягам, живется! — И она поспешила назад в избу к больному, глухо кашляющему князю Борису.

Дети и Настя, весело напевая, шли по лесу. Все складывалось так ладно сегодня: и пристав в отлучке, и солнышко светит словно летом, и грибов после намеднишних дождей должно подняться видимо-невидимо. Зоркие глазенки Миши прежде всех приметили головку боровика.

— Гриб нашел! Настюша, Танюша, глядите! Я нашел, я нашел! — Миша бросился к алеющему среди опавших осенних листьев грибу.

— И я вижу, и я! — Таня кинулась опрометью в другую сторону.

— Детки! Детки! Далеко не забегайте только... Да почаще аукайтесь... Не приведи Господь, заблудитесь еще! — наказывала им строго-настрого Настя.

Сама она опустилась на пень срубленного дерева и глубоко задумалась. Сейчас, когда никто не видел ее, когда она находилась наедине с природой, Настя могла быть такой, какой делала ее горькая судьба. Веселость девушки, так ободрявшая всегда бедных опальных, исчезла мгновенно.

От наведавшегося к ним второй раз перед Ильиным днем Сергеича узнали мурьинские за-

ключенные печальные вести. Узнали, что недолго томился в Нарымском краю закованный по рукам и ногам в пудовые кандалы младший Никитич, Михаил, спрятанный в глухом лесу, в землянке, без дверей и окон. Пристав Тушин, примчавший его в нарымские леса, с помощниками, соскучившись сторожить узника, решил заморить его голодной смертью. А на Москву отписал царю Борису, что Михаил Никитич своей волей преставился.

Уморили и второго брата, Александра, в Усолах, когда он хотел перебраться оттуда за рубеж. Подлые слуги, желая угодить царю, задушили Александра, боясь его вторичного побега.

Федор Никитич томился в Сийске.

Разбитый параличом, Иван дышал на ладан. Василий Никитич тоже доживал свои дни.

Образы братьев-мучеников вставали перед духовным взором Насти... А тут еще печальная судьба деток, оставленных на ее руках... болеющий свояк, таявший с каждым днем, и всегда грустная сестра Марфуша.

Она так погрузилась в свои горькие думы, что не заметила, как подошли Миша и Таня.

— Едут! Сюда едут! Слышать конский бег! И ровно скрип повозки! — наперебой сообщали ей дети.

— Кто едет? — встрепелась Настя. Она обхватила руками обоих детей и прижала их к себе, готовая защищать их от всякой напасти. Всколыхнулось сердце девушки... Что хорошего могли ожидать бедные изгнанники от своей суровой судьбы? Настя прислушалась.

Не ошиблись дети. Лошадиные подковы все громче ударяли о лесные кочки, и тяжелый грохот повозки, казалось, заполонил весь лес.

Вот послышалось ржание и пофыркивание коней... Вот показалась сквозь пожелтевшую зелень лиственниц и зеленые иглы хвои лошадиная голова... за ней другая... И с громким скрипом и уханьем вылезла из чащи тяжелая повозка. Два вершника сидели на конях, запряженных цугом. Рядом с возницею помещался вооруженный стрелец. В окне повозки мелькнули два лица, одно старое, другое молодое.

Настя увидела седую бороду незнакомого боярина, а рядом с ним — в дорогом кафтане и надвинутой на лоб мурмолке молодого человека.

Седой боярин случайно глянул в окно повозки, заметил девушку и детей, велел вознице остановиться и подозвал их.

— Не ведаешь ли, красавица, как ближе обратиться к Мурьинскому погосту? — спросил седой важный боярин.

Миша и Таня, прижавшись друг к другу, во все глаза смотрели на невесть откуда взявшихся знатных путников. Здесь, в глуши, они целый год не встречали никого, кроме скупщиков рыбы да дичи, изредка наезжавших в этот пустынный край.

Настя, смущенная не меньше детей, принудила себя ответить:

— За тем вот поворотом будет поселок...  
А вам кого надо там?

Старик важно глянул на девушку и промолчал.

Но его молодой спутник поторопился ответить:

— К опальному князю Черкасскому мы с указом от великого государя.

— С указом от великого государя! — эхом откликнулась девушка.

Боярин дал знак, и повозка тронулась с места. Настя снова обняла и тесно прижала к себе детей.

Государев указ! Указ жестокого Бориса! Какие муки сулил он им снова?

Но недолго оставалась в смятении Настя.

— Танюша, Михайлушка! — быстро заговорила она. — Слыхали? С новым указом к нам бояре пожаловали!

— Чай, не маленькие, поняли, что говорил сейчас неведомый человек.

— Домой! Домой скорее! Надо ж доведаться о новых милостях царя Бориса, — сказала Настя с горечью.

Когда девушка с детьми вошла в избушку, странное зрелище представилось им.

Князь Борис, чуть державшийся на ногах, стоял посреди избы, держась за край стола трясущейся рукой. Княгиня Марфа Никитична лежала распростертая перед божницей. Старый седой боярин с государевым указом в руках стоял тут же, а его молодой спутник в кафтане царского стольника — несколько поодаль от него.

Едва только появились дети и Настя, княгиня кинулась к ним.

— Настюша! Танюшка! Детки милые! Богу молитесь! Его благодарите! Миновала нас чаша страданий наших... Сохранил Господь... Великий государь облегчил нашу участь... Вотчину нашу родовую костромскую вернул, село Клоны родимое... Туда нас пересылают всех... Там отныне и жить будем... Через день-другой с боярином да с господином стольником выезжать велено... О Господи, Царица Небесная! Умолила Тебя!

И снова княгиня Марфа распростерлась перед иконами.

Князь Борис и Настя сдержанно переглянулись между собой.

«Великий государь облегчил участь! Прислал милость! Это им-то, невинным, облегчил! Без вины виноватых помиловал!» — мелькнула одновременно одна и та же мысль и у Насти, и у умудренного житейским опытом князя Бориса.

Тишина воцарилась в горнице. И среди этой тишины звонким колокольчиком прозвенел детский трепетный голосок:

— А матушка с батюшкой? Они поедут ли? Без них нешто можно?

Все невольно оглянулись на шестилетнего кудрявого мальчика.

Карие глаза Миши смотрели пытливо и зорко. И вся душа нежного, чуткого мальчика, похожая на редкий цветок, переселилась, казалось, в эти глаза. Но никто не мог ответить. Никто не ведал.

— Без матушки никуда не хочу... Говорил Сергеич, что на Заонежье матушка! Неужто там ей оставаться, когда нас домой, в наши вотчины, примчат?... Не поеду я никуда без матушки, — решительно заявил мальчик.

Казалось, судьба подслушала горячее желание любящего детского сердечка. И теперь новая радость заглянула в избушку опальных.

Долго в этот вечер не ложились они. Старый боярин с молодым стольником давно ушли ужинать и ночевать в дом мурьинского священника,

а маленькая семья все еще не могла разойтись по своим углам, не в силах успокоиться после важной вести. Дети давно спали, а князь с княгиней и Настей все еще совещались по поводу предстоящего им нового житья-бытья.

Крепко уснул в эту ночь маленький Миша... Сладкие грезы снились ему...

Снова чудилось мальчику, будто находится он в далеких Клонах, куда не раз возили детей в вотчины ближайшего уезда, родового Домнина, лежащего на Шаче-реке. Чудится ему, как ходит с сестрою молиться в глухом лесном монастыре святого преподобного Тихона, находившемся в сорока пяти верстах от клоновского селения, дальней романовской вотчины. И во сне, как наяву, предстали сейчас перед мальчиком далекие лесистые тихие Клоны, небольшое село Суздальского уезда (нынешнего Юрьевского). Вот и хоромы романовские... Изба просторная, к ней еще пристройка. А там прудок с дикими утками, а за подворьем лес, густой, тенистый, таинственный. Среди него дорога прямая к обители. С другой стороны усадьбы сад, похожий на рощу, так он густ и тенист. Вот и тропочка заветная, на ней дерновая лавка. Здесь пасека была раньше, и старый пасечник Демьян Мишеньку с матерью да Танюшей частенько све-

жим медком лакомил... А сейчас кто сидит на лавочке? Кто дожидается Мишу, кто его рукой манит? Узнал он, доведася сразу... Заликовало детское сердечко во сне! Это — матушка!

«Бегу, родимая, бегу!»

Раскрывает ручки Миша, запрокидывает голову и бросается во сне в объятия матери...

Просыпается, весь охваченный радостным чувством, Миша и боится открыть глаза, боится, что исчезнет милое видение, не будет матушки подле въявь, как во сне, родной, любимой...

Он слышит голос тетушки Марфы, счастливый смех Насти и радостный крик Тани. Недоумевая, открывает Миша сонные глаза и все еще не перестает чувствовать себя в чьих-то объятиях. Что это? Явь ли? Сонная ли греза? Нежные милые руки обнимают его... Над Мишей низко склонилось родимое, незабвенное лицо... А любящие беззаветно глаза глядят не наглядятся на него.

— Мишенька! Голубчик ты мой сизый! Любименький мой!

— Матушка! — С радостным криком мальчик повисает на шее инокини Марфы.

Она это, она! Не обманывает сыновнее сердце. Хоть исхудала, хоть изменилась за год заточения и постарела боярыня, хоть на ней этот смиренный иноческий наряд, но узнает ее Миша, узнает боль-

ше сердцем, чем взором это желанное, родное лицо, эти печальные, с любовью глядящие на него глаза, эти нежные объятия.

— Матушка! Матушка! — повторяет мальчик, задыхаясь от счастья.

Рано поутру приплыла она из Белоозерской обители в Мурьинский погост. Из далекого Толвуя доставили ее туда несколько дней назад пристав с помощником по указу царя Бориса. Тяжелое одиночное заточение старицы кончилось с этого дня. Ей указано было поселиться с детьми, золовками и свояком в Клонах, соединиться с родною семьею. Для недавнего переезда в костромскую вотчину всей семьею и доставили сюда на Мурьинский погост приставы старицу Марфу.

## 4

Отъезд из Мурьина был назначен через неделю. Тем временем чинили дорожную повозку, доставившую сюда больше года тому назад князя Черкасского с семьею. Путь предстоял долгий и нелегкий. Ранние осенние заморозки портили дорогу. А тут еще недужный князь Борис совсем свалился с ног и таял с каждым часом. Не прошло и нескольких дней со дня приезда старицы, как

свояк ее отдал Богу душу. Княгиня Марфа Черкасская не осушала слез. Князь был добрый, хороший человек, и весь Мурьинский погост с искреннею печалью оплакивал умершего. Его похоронили возле церкви и стали спешно собираться в дорогу. Старый боярин-посол, присланный из Москвы, поторапливал: «До Покрова на месте быть надо. Так от царя указано!»

Молодой спутник его за это короткое время сблизился с опальной семьей, помогал хоронить князя Бориса, собираться в дальний путь женщинам и детям. Помогал он и красавице Насте нянчиться с ее маленькими племянниками.

Здесь, вдали от Москвы, молодой девушке не приходилось вести жизнь московских боярышень-затворниц, скрывавшихся от людей. И дружба ее с молодым князем Кофыревым-Ростовским крепла с каждым днем, с каждым часом.

Взяв детей, они уходили в лес и на озеро, в то время как две боярыни, две Марфы, одна опальная княгиня, другая инокиня, обе потерявшие мужей, вели невеселые беседы.

Молодой князь Никита Иванович присматривал за детьми. Особенно полюбился ему Миша. У князя в Москве был младший брат, тоже Михаил, ходивший в стольниках при царе, юноша лет шестнадцати. И часто рассказывал Насте и детям

молодой князь об этом юноше, своем братишке, в котором не чаял души.

Они ходили все вместе на могилу князя Бориса. Горячо молилась там Настя. Забыв весь мир, упав на могильный холмик, просила она усопшего родственника вымолить у Престола Всевышнего счастливую долю ее ненаглядным Тане и Мише. Хороша была и трогательна в такие минуты Настя между двух притихших подле нее ребяток-племянников. А князь Никита любовался самоотверженной девушкой.

Наконец настал день отъезда.

После молебна, под напутственные пожелания всего Мурьинского погоста, две тяжелые громыхающие повозки выкатились из селения. В первой сидели московские послы, а во второй две боярыни, Настя и дети.

Густыми темными мурьинскими лесами лежал их путь на Кострому. Останавливались для отдыха лошадей и для ночевки. И всякий раз на остановках появлялся у окна повозки князь Никита. Он высаживал детей и возился с ними, пока отпрягали и кормили лошадей. И Настя не могла не чувствовать благодарности к юноше за его участие к ее любимцам. Чем ближе подходил конец их пути, тем теснее росла и крепла эта дружба.

А темные леса между тем редели. Реже попадались хвойные деревья, чаще — лиственница. Белые стволы березок заменялись тополями и липами, опушенными инеем.

Выехали на берег Волги, тронутый первым тонким сальцем-ледком. Свернули в сторону от берега и опять погрузились в густые, на этот раз костромские леса.

В сорока пяти верстах от Клон остановились последним привалом среди дремучего леса у ворот бедной маленькой Тихвино-Луховской обители. Малочисленная братия убогого лесного монастыря вышла навстречу. Узнали иноки с игуменом прежних жертвенников-благодетелей, кинулись к опальной боярыне и ее деткам. А вечером на всенощной с особенным старанием выводил хор на клиросе священные песнопения, давая торжественное настроение горячо молящейся опальной семье. С сочувствием смотрела на эту семью монастырская братия, соединяя свои молитвы с молитвами опальных бояр.

\*\*\*

Так вот они, Клоны! Небольшое село раскинулось на опушке леса, обведенное кольцом непро-

ходимой чаши. За селом — речонка с мельницей, а поодаль — двор с избушкою и крошечной пристройкой для служб. Высокий частокол поднимается наравне с крышей. У ворот двое людей ждут прибытия хозяев.

К сумеркам показываются из леса две боярские повозки.

Высокий старик поднимается с завалинки и, приставив руку к глазам, по привычке скорее, нежели от солнца, пристально всматривается в даль.

— Никак едут, Сергеич, наши-то... Говорю, едут! — И, скинув шапку, он идет вперед с несвойственной его почтенному возрасту быстротою.

— И то, наши! Слава Тебе, Господи! Привезли наших бояр! Стой, стой, Иванушка, и я за тобою! — отозвался его собеседник, исполненный несказанной радости.

И оба старика быстро, как юноши, зашагали навстречу.

— Боярыня-матушка, государыня Марфа Ивановна! Слава Тебе, Господи! Дождались!.. Княгинюшка-боярыня! Боярышня Настасья Никитична, боярчата мои ласковые! — приговаривал Сергеич, бросаясь в ноги приехавшим хозяевам.

— Как ты здесь очутился, старина! А мы и не чаяли кого из своих встретить! — радостно щебетали дети.

— От самого Ивана Михайловича Годунова, царева кравчего, супруга нашей боярыни Ирины Никитичны, дознался о приезде вашем, о смягчении участи вам, ангелам невинным... И поспешил, да по дороге в соседний уезд, в Домнино-село заглянул, кума своего, Ивана Сусанина, домнинского старосту твоих, государыня боярыня Марфа Ивановна, вотчин упредил... Просил меня старик с вами, хозяевами своими, привести повидаться... Вот и приплелся сюда со мною, челом тебе с детками да сестрицами ударить, курами, да яичками, да творожком деревенским... Все запасы в хоромах остались. Просим милости отдохнуть с дорожки далекой, — тараторил Сергееч в то время, как другой старик, величавой и открытой наружности, с честными, необычайно добрыми глазами, низко кланялся, стоя без шапки перед опальной семьей.

Марфа Ивановна с первого же взгляда узнала своего прежнего слугу, домнинского старосту Ивана, по прозвищу Сусанина. Он не раз наезжал в Москву на романовское подворье с оброком для своих бояр, и все Романоввы отличали верного слугу.

Теперь, когда село Домнино с окрестными деревнями и поселками, доходившими числом до пятидесяти, в Шачебольском стану на Шаче-

реке, были отписаны на царя Бориса, старый Сусанин не являлся уже романовским слугою, но все же оставался верен прежним своим господам.

Растроганная такой преданностью, Марфа Ивановна со слезами благодарила старика.

— Спасибо тебе, Иванушка, век не забуду верности твоей! — Боярыня, смахнув слезу, первая вошла в свои скромные, почти бедные клоновские хоромы, так мало похожие на прежние жилища бояр Романовых на Москве и в домнинской вотчине, где они иной раз проводили летнее время.

Но детям и Насте после годового мурьинского заточения показался земным раем этот уголок. Кругом шумели не чужие, а родные леса... Родное, свое село... Свои крестьяне с хлебом и солью теснятся сейчас у крыльца, узнав о возвращении бояр.

И охватывала радость бедных ссыльных. Тане и Мише особенно уютной показалась скромная изба, где благодаря заботам Сергеича и Сусанина все сверкало чистотою, теплились лампы в углу, чистые полавочники покрывали лавки, узорчатая камчатная скатерть лежала на столе, где красовался обильный ужин, приношение Сусанина и крестьян.

Теперь новая надежда закралась в сердце ребятшек.

— Отпустили матушку, может статься, вернут и тятю! — высказывали они свои надежды друг другу. — Настюшка, а Настюшка, может ли статься это? — обращались они то и дело к тетушке, с которой привыкли советоваться во всем.

Но та только покачала головой. Что она могла им ответить? Чем могла обнадежить бедных полусироток при живом отце-заточнике?

— Прости, боярышня! Назавтра мой боярин отъезд в Москву назначил... Не поминай лихом, Настасья Никитична, — говорил молодой князь Кофырев-Ростовский через несколько дней по приезде в клоновскую усадьбу.

В теплом охабне, найденном в кладовых клоновской избышки среди остатков романовского имущества, уцелевшего здесь случайно, в отороченной мехом теплой шапке, Настя вышла погулять за ворота с детьми. Верный Сергеич плелся за ними на некотором отдалении, не выпуская из виду юных господ.

Князь Никита, встретив у околицы Настю с племянниками, остановился перемолвиться с ними словом.

— Назавтра уезжаем отселе! Прости, боярышня! — с невыразимой грустью повторил еще раз молодой стольник.

«Назавтра уезжаем!» Эти слова как громом сразили Настю.

Она так привыкла за последнее время к присутствию молодого человека, так привязалась к нему, что мысль потерять его, такого доброго и заботливого, показалась ей дикой и невероятной.

Потупив глаза, стояла она перед юношей, крепко ухватив за руки Таню и Мишу, словно ища в них силы и опоры.

А дети, сами встревоженные предстоящей разлукой с князем, к которому привязались не меньше Насти, готовы были расплакаться при этом известии.

Понуро стоял князь Никита, вглядываясь в милое лицо девушки, полюбившейся ему в первую же минуту их встречи там, за околицей далекого Мурьинского селения.

Вероятно, его волнение передалось и Насте.

— Танюша, Мишенька, бегите к Сергеичу скорее, скажите ему, чтобы с вами погулял, а мне с князем Никитой двумя словами перемолвиться надо, — смущенно обратилась она к племянникам.

Те послушно кинулись вперегонки навстречу бывшему дворецкому, теперь исполнявшему при них обязанности дядьки.

Князь Никита и Настя остались одни.

— Спасибо тебе, княже, за твою ласку к деткам да заботу о нас, злосчастных узниках. Кабы знал брат Федя, инок Филарет ныне, обо всем, что мы от тебя доброго видели, денно и ночью Бога бы молил за тебя... А мне отплатить тебе нечем... Моя грешная молитва вряд ли до Господа дойдет.

— Господь с тобою, Настасья Никитична, — возразил князь Никита, — ты ли не праведница, коли деток чужих под крылышко к себе, ровно родная мать, приняла! Тебя ль не возлюбил Господь, боярышня!

— Господь всех людей, все творения Свои жалует, княже, — а вот люди!.. Пошто они невинных мучают и томят?... Братьев моих, сестер, племянников и меня, ни в чем не повинную, за что они нас губят?

Князь шагнул к Насте, взяв ее за руку.

— Настасья Никитична, голубушка... золотая... желанная... да нешто не видишь ты?.. Слово одно вымолви, и всех злодеев твоих, всех врагов семьи твоей уничтожить готов... На плаху за тебя пойду... Настасья Никитична,

лапушка, неужто оттолкнешь меня?... неужто прочь прогонишь? Аль побрезгуешь, боярышня, род свой романовский на наш княжий кофыроростовский променять? Аль не люб я тебе? Выходи за меня!

Струйками лесного ручья вливались в душу Насти эти слова. И в ее сердце зарождалось могучее чувство к этому благородному Никите Ивановичу, который, не боясь царского гнева, смело предлагал себя в мужья ей, опальной, ссыльной, разоренной боярышне.

«Так вот какова она, любовь! — запело, ликуя, в душе девушки. — Никакие преграды ей не страшны!»

Радостно посмотрела она на князя. А он уже снова говорил ей:

— Как увидал тебя тогда в мурьинском лесу, так ты мое сердце и полонила сразу, так и решила мою судьбу... Ах, Настасья Никитична, сам вижу, нет без тебя для меня доли... Не томи, желанная, родимая! Выходи за меня! Завтра же и веселье справим, до поста Рождественского на Москве будем... А сейчас к боярыне-инокине веди меня. Где уж тут свах засылать, хороводиться... Повенчаться в обители Тихвинской, и умчу тебя, голубку мою, в Москву!

— Что? Что такое говоришь ты, княже?

Настя словно от сна очнулась в эту минуту... Провела рукой по лицу... Несколько мгновений она молча глядела в землю... Затем заговорила прерывисто:

— Господь с тобой! Господь с тобой, князь Никита! Неладное ты затеял — о веселье и радости говорить, когда томятся в заточении и умирают мои братья, а жена да дети брата Филарета мне поручены, у меня на руках... Не хочу лгать тебе, княже, полюбила и я тебя, за деток-сирот полюбила, за все, что ты сделал для них, за несчастную старицу-инокиню, их мать, за все добро, за всю ласку твою... Но не буду я женой тебе до тех пор, покуда не повернется судьба ссыльных заточников, покуда не получат детки отца, покуда лучшие времена не наступят для романовской семьи... Нет, нет!.. Не оставляю я их, не стану искать счастья, пока они страдают... Совесть меня заживо сглохнет, княже, ежели покину я ради своей доли бедных деток да мучениц-сестер...

Сказала, махнув рукой, и пошла было к Сергеичу и детям. И вдруг, не выдержав, обернулась и молвила чуть слышно:

— А ты, ежели сильна любовь твоя, княже, ждать меня станешь... и верить будешь, что думает о тебе и дни и ночи Настя и ждет лучших день-

ков. И Господа Бога за тебя молит она и никогда, никогда не забудет тебя.

И, улыбнувшись ему сквозь слезы, поспешила Настасья навстречу своим.

## 5

С невероятной быстротой чередовались события на Руси.

После изнурительной жары лета 1601 года, породившей недороды, голод и мор в земле Московской, внезапно хлынули проливные дожди, погубившие новые всходы. Три года длился голод, сопровождающийся повальным мором, и никакие ухищрения царя Бориса не могли спасти от несчастья народ.

А далекий, неведомый «царевич» совершал в это время на Литве свое дерзкое и опасное дело. Богатые польские магнаты, во главе с Константином Вишневецким, братом Адама Вишневецкого, у которого состоял на службе среди мелкой шляхты молодой проходимец, называвший себя царевичем Дмитрием, признали его. За ними признал и Юрий Мнишек, сандомирский воевода, и значительная часть польской знати.

В роскошном замке пана воеводы Мнишека давались теперь пиры в честь самозванца. Пирьы сменялись охотами, охоты — балами. Сверкал огнями нарядный Самбор. С утра до ночи и с ночи до утра гремела музыка, били литавры, и очаровательные паненки, во главе с хозяйскою дочерью, Мариною Мнишек, выступали в плавном полонезе, мчались в лихой мазурке или в огневом краковяке с молодыми рыцарями Польши и Литвы. Бряцали шпоры, непринужденно лилась польская речь. Веселье било ключом. Но ни умопомрачительные наряды, ни сверкающие драгоценными камнями уборы, ни роскошь польских пиров — ничто не могло сравниться с тем ореолом намечавшейся в недалеком будущем славы, которая ждала называвшегося *царевичем* Дмитрием и в которую твердо верили все сторонники его. Счастливая звезда юноши всходила и загоралась ярко. Теперь уже вся Польша признала его. Магнаты и иезуиты обещали ему свою помощь. Ценою принятого втайне католицизма и обещанием не препятствовать распространению католической веры в Московской земле Лжедмитрий приобретает друзей в среде иезуитов и в аристократической Польше среди магнатов. Сандомирский воевода сулит ему свою помощь и руку дочери-красавицы Марины, когда он воцарится на московском престоле.

Сам король Сигизмунд вызывает его в Краков и тайно обещает поддержку, назначив содержание царевичу в размере сорока тысяч золотых. Сигизмунду выгодно посадить на престол московский своего приверженца, который будет охранять интересы Польши и Литвы. В Самборе набирается войско для самозванца, на вербовывается до 1600 человек из мелкой шляхты и разного сброда, жадного до наживы. Теперь уже не веселая бальная музыка звучит в Самборе, здесь слышно бряцанье оружия и гром боевых труб... Отсюда собранный отряд выступает к рубежу... Здесь к нему присоединяются московские беглецы, донские казаки, украинцы. Отсюда в возах с хлебом пересылаются грамоты в Москву с извещением о том, что настоящий, прирожденный царевич Димитрий идет добывать прародительский престол, безжалостно отнятый у него Борисом.

Поздней осенью самозванец, перейдя Днепр, вступает в русские пределы. Отсюда скачет гонец в Москву с письмом к царю Борису. Лжедимитрий убеждает в нем Годунова оставить добровольно престол, сулит ему прощение, помилование. И тут же дает обещание «пожаловать ему своим великим царским жалованием» имения, вотчины. Город Моравск первый сдается Лжедимитрию без боя. Здесь его признают за истинно-

го царевича, сына Грозного-царя. За Моравском — Путивль, Рыльск, Чернигов. Вся Северская земля склоняется к ногам самозванца. И только Новгород-Северский, где был тогда воеводою Петр Федорович Басманов, отчаянно защищается.

В то время как Лжедимитрий осаждает этот город, радостные вести из других мест приходят к нему. Курск, Кромы, Белгород сдаются ему без боя и шлют своих служилых людей...

Теперь войско его растет с каждым часом. А из Москвы к осажденному Новгороду-Северскому спешит на подмогу новая рать. Старик Мстиславский, испытанный в бою воевода, ведет ее на помощь Басманову. Загорается бой. Несмотря на то что отряд московский во много раз превосходит своим числом Лжедимитриевы войска, самозванец побеждает. Мстиславский ранен. Из Москвы спешит Шуйский со свежими дружинами на подмогу царскому войску. А тут еще часть войска Лжедимитрия оставляет своего вождя. Самозванец запирается в Путивле. К нему стекаются четыре тысячи казаков... И снова крепнет в своей силе дерзкий, отчаянно-смелый проходимец. В царском войске замечается шаткость. Счастье нового царевича туманит всем глаза. Его львиная храбрость очаровывает, а посто-

янные обещания мирного, светлого и доброго царствования приходятся по сердцу простому народу, уставшему от сыска и наказаний подозрительного Бориса. Народ добровольно спешит на встречу новому властителю. Открываются ворота городов, и как спасителя Руси встречают Лжедмитрия обрадованные жители.

В Москве в это время стоит зловещая тишина, жуткое затишье перед грозой... Царь Борис запирается с гадалками, а сына Федора посылает раздавать милостыню по тюрьмам и церквям и заседать в думе. С колокольни недавно выстроенного по приказу Бориса храма Ивана Великого несется то и дело протяжный звон... Это сзывают народ молиться. Служат молебны один за другим, бесконечные, после каждой незначительной победы, чтобы поднять веру народа в счастье царя Бориса. Басманова, победившего под Новгородом-Северским, Борис осыпает щедрыми милостями. Молодой воевода назван в бояре. Он ближний человек. Ему обещали в награду за новые победы руку царицны Ксении и Казань, Астрахань и Сибирь в приданое за нею. Народная смута тем не менее растет и растет, несмотря на то, что князья Голицыны и Василий Шуйский с Лобного места уговаривают народ не верить слухам о самозванце, называя его беглым расстригою-монахом. Патриарх

Иов предает его анафеме. Гремят проклятия в соборах Гришке Отрепьеву, бывшему чернецу Чудовой обители, который выдает себя за царевича Дмитрия. Но московские люди не верят тому, что смелый витязь, перед которым склонилась уже вся Северская земля, и беглый чернец — одно и то же лицо. Народ ждет «своего царевича», успевшего обещаниями и посулами очаровать его. Народ верит, что лишь только смелый вождь-царевич появится на Москве, разом канут в вечность все несчастья, связанные с царствованием Бориса. И ждет он дня этого как светлого праздника.

13 апреля 1605 года внезапно умер Борис, передав престол своему юному сыну Федору. Вслед за тем снова был послан Басманов против Лжедмитрия в Северскую землю. Но случилось неожиданное событие: войска, во главе с вождем их, Петром Федоровичем Басмановым, предались самозванцу.

Шаткое положение нелюбимых народом Годуновых, с одной стороны, и признание самозванца недюжинной личностью — с другой, изменили недавнего сторонника Бориса. Молодой воевода решил дело в пользу Лжедмитрия и отдал ему во власть московские дружины. Участь Москвы и ее юного царя таким образом была решена: все войско провозгласило Дмитрия царем.

В Москву с этой вестью отправили послов, дворян Пушкина и Плещеева. Опять зазвонили колокола, и на Красной площади, с Лобного места, послы прочли грамоту Дмитрия к народу. В этой грамоте говорилось о мытарствах, которым Дмитрия подверг искавший его смерти Борис, о чудесном спасении и о законном праве его на прародительский престол.

В ответ на прочтенную грамоту толпы народа огласили Красную площадь заздравными криками в честь будущего государя. Князь Шуйский, по требованию толпы, поклялся всенародно, с Лобного места, что царевич Дмитрий жив, а в Угличе был зарезан сын поповский. И дал на том крестное целование.

Тогда толпы народа хлынули во дворец с громкими возгласами: «Буде жив, царь Дмитрий! Да здравствует прирожденный, законный царь! Долой Годуновых, его гонителей!»

Царь Федор решил спастись в Грановитой палате на троне московских царей. Мать и сестра были с ним. Смутная надежда не покидала их. Здесь, на троне, в царском облачении, юный царь считал себя в безопасности. Но... смута и мятеж уже захлестнули народное сознание. Федора свели с трона, схватили его мать и сестру и вывезли на простой водовозной телеге на подворье их

прежнего дома, осыпая насмешками. Там, в угоду новому царю, помня указ Дмитрия, задушили юного Федора и его мать, а царевну Ксению насильно постригли в монахини. Патриарх Иов был лишен сана и заточен в дальнюю Старицкую обитель.

С этого дня началось триумфальное шествие к Москве нового царя. К нему отправились выборные бояре из лучших родов с раскаянием в службе царю Борису и с просьбою о помиловании. Во главе войска Дмитрий тронулся к Орлу и Туле. На пути явились к нему выборные от всей земли Рязанской.

20 июня новый царь торжественно вступил в Москву. Звонили колокола всех сорока сороков московских. Сверкала алебардами польская конница в блестящих латах. Трубачи и литаврщики предшествовали процессии. Ряды стрельцов пестрели яркими праздничными кафтанами. Раззолоченные царские кареты, запряженные цугом, по шести лошадей каждая, бояре и дети дворянские в роскошных кафтанах сливались в одно яркое пятно цветной парчи, бархата, золота и драгоценных камней. За служилыми людьми несли иконы, хоругви, кресты, шло духовенство в светлых ризах. А за ними ехал новый царь на белом коне.

— Здрав буди, наше красное солнышко! Живи многие лета, прирожденный государь московский!

У Успенского и Архангельского соборов новый царь спешился, вошел в храм. Перед гробницей Иоанна Васильевича Грозного он преклонил колени и, рыдая, просил у покойного царя благословения на царство, еще более умиляя этим московские толпы.

А несколькими днями позже из Москвы, по приказанию Дмитрия, уже мчался гонец Михаил Скопин-Шуйский к бывшей царице Марии Нагой, заточенной в дальнюю обитель, с приветом от чудом спасенного сына и с наказом пожаловать ей в Москву.

## 6

После пяти долгих лет ожило, проснулось романовское подворье. Отобранное четыре года тому назад в имущество царя Бориса и теперь возвращенное прежним владельцам молодым царем Дмитрием, снова ожило это богатое старое гнездо.

Прежние челядинцы Романовых, оставшиеся без крова и хлеба, питаются людским подаянием,

заслышав о милостях нового царя к их опальным господам, из всех уголков Москвы стали возвращаться на старое место. Но не все могли вернуться, многих уже не было в живых, многие не вынесли жалкого существования. Но зато все, спасшиеся от нужды и лишений, деятельно принялись за работу по уборке господских палат.

Вместе с бесчисленными вотчинами и крестьянами все сокровища Романовых были возвращены им из глубоких подвалов Бориса. Нагруженные возы доставляли сюда меха, утварь, золото, серебро, самоцветные камни, одежды, шубы и оружие. Старый Сергеич, приехавший из далеких Клон, как и в былые времена, руководил устройством и уборкою подворья.

Нынче должна была вернуться его опальная боярыня-инокиня с боярышней и детьми.

Знал старик, что-то еще более торжественное и неожиданное готовилось для его бояр-государей. Как слышал Сергеич, нынешний царь первое, что сделал по восшествии своем на престол, — это вернул из заточения свою инокиню-мать, бывшую царицу Марью, боярина Богдана Бельского, своего дядьку, сосланного Борисом, и своих дядей Нагих. И если верить смутным слухам, то и о других родственниках своих, Романовых, позаботился молодой государь. Слышал Сергеич, что Филарету

Никитичу, его боярину, предложат сан Ростовского митрополита, а Ивану Никитичу — почетное место в государственной думе.

Не сегодня-завтра примчат сюда из дальнего заточения обоих братьев, а из Клон — все семейство Филарета Никитича. И всеми силами старается поспеть с уборкою к этому дню старик... Ему помогает мамушка Василиса Кондратьевна. Устанавливают наскоро лари, скрины и тяжелые сундуки, присланные из дворца. Перестраивают, перетряхивают, проверяют вещи. Из возвращенных вотчин, из Домнина, еще накануне пришли подводы с разною живностью. Целый обоз с курами, утками, мясными тушами, зерном, хлебом и всевозможным деревенским гостинцем.

Недоставало только самих хозяев, но их ждали только к ночи, а то и завтра поутру из-под Коломенского, где они должны были сделать последний привал.

Немудрено поэтому, что Сергеич всячески торопил челядь с уборкою, стараясь достойно встретить своих дорогих господ.

Погожим утром ранней осени молодой московский царь был уже давным-давно на ногах.

Пренебрегая старым московским обычаем ложиться спать с петухами и проводя целые ночи

в пирах с наехавшей из Польши литовской знатью, под звуки труб и литавр, гремевших чуть ли не до зари в царском дворце, царь Димитрий проснулся тем не менее рано и в скромной одежде вышел из дворца.

Вошли в обыкновение у царя московского эти ранние прогулки, во время которых он заглядывал один-одинешенек, без свиты, в мастерские, где изготовлялось оружие, оттуда отправлялся на Монетный двор и в торговые ряды, говоря со всеми попросту, останавливая прохожих и расспрашивая их обо всем.

Но в этот раз царь вышел не пешком. Царский конюший подал ему к крыльцу едва объезженную дикую лошадь, так и рвавшую удила. Объезжать таких лошадей было великим удовольствием для Димитрия. Он вихрем носился на них, к немалому удивлению старых бояр, неблагожелательно покачивавших головами. Не нравилось это молодечество царя тяжеловесным на подъем московским вельможам.

«Равно тебе и не царь, а простой человек, как и мы, грешные».

Но сильнее, чем прогулки, скачки и охоты (во время которых Димитрий самолично выходил один на один с рогатиною на медведя), претило им неуважение царем русских обычаев и привя-

занность его к иноземщине. Музыка на пирах, близость к трону поляков, полное равнодушие Димитрия к соблюдению постов — все это за спиною царя ставилось ему в упрек.

В то время когда дикий конь кружил лихого всадника по ближним окрестностям Москвы и Димитрий, опьяненный свежим душистым осенним воздухом, наслаждался своей короткой свободой, в передней государевой, в ожидании царя, шла оживленная беседа среди бояр, которых царь называл «сенатом» по примеру Польши и Литвы.

Здесь собрались все думцы, во главе со стариком Бельским, недавно возвращенным из ссылки. Были здесь три брата Шуйские, попавшие было в самом начале царствования в опалу, — а старший Василий, приговоренный даже к смертной казни и на самой плахе в последнюю минуту прощенный царем. Были князья: Мстиславский, Воротынский, Телятевский, Голицыны — словом, весь цвет русского боярства. Ближний боярин Петр Федорович Басманов отсутствовал, и собравшиеся думцы, члены нового сената, пользуясь этим, могли высказать свое недовольствие молодым царем.

— Да где ж он? Время полдничать как раз приступает, а его и след простыл, — горячился Василий Голицын. — Хоть бы ты, князь Бель-

ский, как прежний дядька царев, сказал бы ему, что царю московскому негоже с народом якшаться да всюду доспевать на рабочей слободе. Слава Тебе, Господи, слуг у него немало... Пусть пошлет кого из нас...

Старик Бельский поднял глаза на говорившего и погладил седую как лунь бороду. Ему, более чем кому другому, было известно о самозванстве, но долгая ссылка, заточение, тоска по Москве и ближним и дарование ему этим странным и неведомым юношей помилования заставили и его, честного, неподкупного Бельского, покривить душой, признав за царский корень дерзкого проходимца. И Бельский только поглядел на Голицына и ничего не ответил.

Василий Шуйский быстро взглянул на мастиного старца маленькими подслеповатыми глазками. О, он вполне соглашался с Голицыным. Он сам это доказал всенародно, открыто подымая на мятеж московскую чернь, еще в самом начале царствования Дмитрия. И чуть не поплатился за это головою. Сейчас он снова в милости у царя и должен молчать, потому что время его еще не пришло: еще не приехала из Польши царская невеста Марина Мнишек, на которой женится царь, по всей вероятности не обратив ее в православие, себе же на гибель.

Он, старый Шуйский, дождется этого часа, и тогда... Кто знает пути Господни? Может, вместо сверженного «царя-проходимца», «польского названца» кто-либо из старых боярских родов получит престол? А что если он, Шуйский?

Эта мысль словно огнем обжигает голову старика, туманит его мозг... Все путается на мгновение перед глазами Шуйского... Но такое состояние длится недолго. Усилием воли он принуждает себя успокоиться.

«Терпение!.. Терпение!.. — слышит он чей-то чужой голос, поднимающийся со дна его души. — Поспесишь не вовремя, народ насмешишь только». Сунулся ведь он было народ поднимать против Дмитрия — и головы едва не лишился, сослан был, вернули лишь недавно и опять приблизили к кормилу правления.

И снова при одной этой мысли закипает князь от злобы и ненависти к «великодушному» царю, и ловит со злорадством недовольные речи боярдумцев, собравшихся в государевых покоях, и торжествует.

Теперь уже старый князь Воротынский накидывается на Богдана Бельского:

— Хоть бы ты царю присоветовал не поганыть терема бесовскими ляхскими игрищами... А то намедни к заутрене трезвонить зачали, а во

дворце литавры да трубы гремят. Чисто дьявольское наваждение, право!

— Чего уж там! — вмешался старик Мстиславский. — Сам своими глазами видел, как в среду, заместо постной еды, государь поганой телятиной тешился, вкушал ее, словно потребную ясть!

— А в субботний день баню не топили... Говорят, государю угарно зело... А допрежь всего русский человек к бане, к отдыху после праздника привержен, — вздохнул один из братьев Голицыных.

Тут Шуйский запел тягуче:

— Князья-бояре... Не нам судить государя молодого, прирожденного сына нашего батюшки царя... Неволен в том он, государь-владыка, благоверный Димитрий Иванович, что, счастливо избегнув гибели, долго в ляшской земле укрывался и обычаи, кои там, принял. Постарше, помудрее станет, попривыкнет и к нашим обычаям... А что в бане не парится, да телятинку вкушает, да пирует под бесовскую музыку — так по младости это... Не всякое лыко в строку...

«Ишь, запела лисица! А небось сам же за те же речи едва головы не лишился!» — со злобою подумал князь Василий Голицын.

Но ответить Шуйскому он не успел. Распахнулась дверь. Вошел темнокудрый, еще молодой красавец с быстрыми глазами, Петр Федорович

Басманов, державшийся в стороне от остальных членов нового сената, вернейший и преданнейший слуга Дмитрия.

— Великий государь с прогулки сейчас вернуться изволил! — объявил он с порога передней, отвешивая боярам полный достоинства поклон.

Снова, под быстрыми руками двух пажей, распахнулись двери из внутренних дворцовых покоев, и небольшая, коренастая, но статная фигура Дмитрия появилась перед низко склонившимся государевым сенатом.

— Прощения прошу, что задержал вас, князя-бояре! — звонко прозвучал молодой сильный голос царя. — Мочи не было с поля ранее вернуться... Дух-то за стенами московскими на воле какой! Ровно вино, пьянит! И сердцу весело и любо! И телу пользительно!

Действительно, такие прогулки как нельзя лучше сказывались на здоровье молодого царя. Его огневые глаза блитали. Горело румянцем некрасивое, но умное и вдохновенное лицо. Золотом отливали рыжие кудри.

И когда он присел боком у стола, минуя свое царское место, и стал просматривать поданные ему думным дьяком Василием Щелкановым свитки грамот, бояре, окружившие царя, поняли, что энергия, бьющая ключом в этом юноше, за-

ставляет их забывать о его подозрительном происхождении, и как-то невольно хотелось верить, что он действительно сын Грозного-царя.

Планы пути в Туретчину, в крымское ханство, подвластное султану, лежали перед Дмитрием. Царь во что бы то ни стало желал наказать крымских татар за их набеги на русские владения и готовился к крымскому походу, прося помощи у короля Сигизмунда. Последний желал получить за это Северскую землю, разрешение строить католические костелы, а иезуитам жить в Московской земле. Но на это царь московский согласиться не мог. Приходилось, стало быть, обходиться без польской помощи. Планы крымского похода увлекали молодого царя. Тщеславный и горячий, он бредил лаврами Александра Македонского и, присвоив себе титул «цесаря непобедимого», хотел во что бы то ни стало оправдать его.

Сейчас он доказывал боярам, что нет ничего легче, как завоевать для Москвы Крым, если обрушиться на него сразу с двух концов: с моря да с суши.

— Только войска наши дюже плохи, — горячо доказывал Дмитрий, — приказал я князю Скопину-Шуйскому велеть земляные крепости на Москве-реке строить. Пусть разделятся стрельцы. Одни пускай нападают, другие берегут

завалы... На Литве всегда так перед войной делается. Руку набьют, по крайности, в ратном деле... Я сам покажу, как вести сражение.

И он порывисто вскочил с места, будто уже были устроены завалы и крепостцы и началось сражение двух практикующихся сторон, готовый бежать туда, руководить этим сражением.

Но в это время Петр Федорович Басманов посмотрел в окно.

— Глянь, государь, каких гостей тебе Господь посылает ныне.

Димитрий подошел к окну, и лицо его просияло.

— Ступай, Федя, встречай дорогих гостей, любезных моих родичей... Чтобы не задержали их в сенях и переходах, чтобы тотчас же прямо ко мне... Сюда их введешь, Федя! — приказал царь.

Бояре удивленно переглядывались между собою. Знали они о многих преобразованиях и замыслах царя. Знали о его милостях, щедро рассыпаемых. Возвращена была из далекого монастыря его мать инокиня Марфа, бывшая царица Мария Нагая, открыто признавшая сыном Димитрия, возвращены из ссылки и ее братья, царские дядья и осыпаны милостями. Каких же новых гостей так задушевно встречает молодой царь?

Но вот поднялась суматоха во дворцовых сенях...

Алебардщики из немецкой стражи, для охраны и почета служившие при московском царе, вошли и встали, провозгласив на всю переднюю горницу государеву:

— Бояре Романовы явились из ссылки по твоей милости и пришли бить тебе челом, великий государь!

И тотчас же на пороге выросла высокая, величавая фигура инока с длинной седой бородой. За ним появился болезненного вида боярин, волочивший разбитую параличом ногу. Оба они со скромным достоинством низко поклонились царю.

Со свойственной ему огневой подвижностью Дмитрий бросился сначала к Филарету Никитичу, изменившемуся и постаревшему за годы строгого заточения, и горячо обнял его.

— Наконец-то! — произнес царь дрогнувшим голосом. — Наконец-то могу я исправить Борисово мучительство и достойно наградить невинно пострадавших родичей моих!

И, низко склонив голову перед иноком, произнес смиренно:

— Благослови брата своего, будущий владыка Ростовский!

Суровые глаза Филарета блеснули радостной надеждой.

Если ему доставлял такое почетное, высокое место этот странный, неведомый человек, в царственное происхождение которого он не мог верить, то кто знает, может статься, он также осыплет милостями и его детей и жену с сестрами, разрешит ему видаться с ними.

Сердце смиренного инока забилося сильно, до боли... Нынче примчали их только с братом из дальних ссылок сюда, на Москву, и объявили по дороге о возвращении им всех их вотчин и имений. Но о семье ни слова. О детях тоже. Да живы ли, здоровы ли они?

А Дмитрий говорил между тем младшему Романову:

— Филарет Никитич отречен от мира. Почести духовные, сан владыки Ростовского, давно уготовлены ему... А ты, боярин Иван Никитич, найдешь свое место среди моего сената, промеж моих ближних советчиков... И Филарет Никитич, и ты желанные гости у меня во всякое время... И хоть ничтожной малостью покроет Дмитрий то лихо, те муки, коим подверг вас, невинных, гонитель ваш Борис.

При этих словах царь отвернулся и смахнул набежавшие на глаза слезы. В суровых глазах Филарета отразился мучительный вопрос.

— Великий государь, — произнес он. — За милости твои земно благодарю тебя, но мирские почести не пленяют меня боле... Бью тебе земно челом. Об одно молю, государь, дозвожь узнать про участь близких моих, дозвожь повидаться с ними.

— Возьми на час терпение, Филарет Никитич! Дай срок нынче до полудня покончить с делами думскими. А там, может, и изведаеть от челяди о том, как живут в клоновской вотчине твои детки да жена... Может, и другая радость ждет тебя, отче.

Димитрий указал место близ себя обоим братьям, в то время как бояре-думцы с невольной завистью поглядывали на этих новых любимцев, попавших из тяжелой опалы в такую милость.

## 7

Впервые за долгие годы опалы старица Марфа с детьми и сестрами отобедала снова на своем родном романовском подворье. Вчера доставили их сюда из Коломенского, где был у них последний привал по дороге из дальних Клон. Пять лет не видели они родной Москвы.

Изменилась Москва, изменилось подворье, но еще большая перемена постигла самих ссыль-

ных. Обе боярыни очень постарели за эти сравнительно недолгие годы. Выросли дети. Десятилетний Миша глядел много старше и серьезнее. Почти взрослой девушкой стала тринадцатилетняя Таня, поднявшаяся, расцветшая незаметно, как дикая яблонька в лесу. И всех беспокоило одно и тоже горькое размышление: вот и вернули им свободу и имение, они в Москве, на родине, но как там он, заточник, в далеком Антониево-Сийском монастыре?

Старая пестунья Кондратьевна глаз не могла оторвать от любимца — Мишеньки, вернувшегося к ней, и несказанно сокрушалась, видя его печальным. А Миша тотчас же после обеда в родном гнезде шепнул молодой тетушке и сестре:

— Побежим в сад скорей. При матушке говорить неладно, а надо мне перемолвиться с вами!

Обе девушки, сестра и тетушка, не заставили повторять приглашение и вышли следом за Мишей.

Вот он, старый тенистый сад, обнаженный сейчас рукой осени. Разрослись за эти долгие пять лет березы и липы... Еще могучее стали выглядеть великаны-дубы. И та же качель-доска подвешена между ними.

Взглянув на эту доску, Настя припомнила майский душистый полдень, веселые клики девушек, испуг мамушки и чужую непонятную беседу там, у забора...

Тогда была весна, теперь осень. Тогда сияло солнышко и зеленели кусты и деревья, сейчас обнаженные, печальные, как сироты, стоят они...

Вот и березки по соседству с молоденьким тополем — разве они не похожи на печальных сирот? Эта мысль как-то неожиданно пришла в голову Мише.

Не по-детски серьезно взглянул он на них и положил руку на плечо сестре.

— Глянь, Танюша, ровно мы с тобою, сиротинки без родимого батюшки!

Таня всплеснула руками и заплакала. Тогда брат крепко обнял ее:

— Не плачь, Танюша! И ты, Настя! Недаром же вызвал нас сюда новый государь... Коли из ссылки вернул, значит, добр он и милостив, а коли милостив, так я ему челом ударю, упрошу батюшку вернуть... Беспременно, чтоб вернуть батюшку! Вот подождите, упрошу Сергеича до крыльца меня довести во дворце. Говорил дядька, что дважды в седмицу царь на крыльце том из рук своих народ жалует, милостыню раздает... Так нешто откажет мне, отроку, коли я ему челом ударю за родимого батюшку?

Настя и Таня затаив дыхание слушали его. Неожиданно Настя обхватила кудрявую голову племянника и прижала ее к груди:

— Милый ты мой! Да разве допустят тебя к царю?.. Да окрест его, челядинцы наши сказывали, ляхов тьма, что вороны налетели...

— Ошибаешься, боярышня, неверны твои речи. К государю московскому всем доступ дозволен, — раздался звучный голос.

Раздвинулась быстро под чьей-то сильной рукой густая стена опавших кустов, и на тропинку вышел молодой рыжеволосый боярин в коротком, немецкого образца кафтане-терлике, в епанче, наброшенной на плечи, с дорогим ожерельем и в отороченной седым соболем низкой мурмолке.

За ним следовало еще трое: высокий черноглазый боярин и двое юношей, из которых один выглядел совсем молоденьким. Настя смотрела на рыжего боярина в богатом наряде. И странное дело! Чем больше вглядывалась в его черты Настя, тем более знакомым казалось ей это обрамленное рыжими кудрями энергичное лицо с двумя бородавками, эти огневые, быстрые глаза, эта добродушная по-детски улыбка.

«Да это он! — вспомнила девушка свою встречу в лесу. — Тот самый странник-юноша, что просил ее напутствовать его благословением на какое-то большое, ей неведомое дело. Что же случилось с ним, однако? Кто превратил его, убогого нищего, в этого богатого, по-видимому, и знатного боярина?»

— Припомнила нашу встречу, боярышня? — спросил боярин, так что одна только Настя могла слышать его.

— Припомнила, боярин, — чуть слышно проронила девушка.

— Все припомнила?

— Все, как есть!

— И как напутствия твоего просил? Помнишь, боярышня Настасья Никитична?

— Помню, боярин.

— Принесло мне счастье твое благословение, твое напутствие, боярышня. Вернуло оно мне все то, что злой враг отнял у меня... Благословила ты меня на доброе дело... И свершилось оно. Ныне моя очередь воздать тебе за то напутствие твое сторицею... Идем за мною, и племянникам своим вели идти!

Сказав это, рыжекудрый боярин и его спутники направились к крыльцу романовского дома.

Словно во сне шли Настя, Миша и Таня за неведомыми людьми, неожиданно, как в сказке, появившимися перед ними. А радостное предчувствие уже наполнило их сердца.

Не чувствуя ног под собою, вступили они на крыльцо, оттуда в сени. Из сеней — в обширную стольную избу. Почему в ней столько народу?.. Почему вся челядь упала в земном поклоне, как только они вошли?

Вот расступилась толпа... Старица Марфа, поддерживаемая с одной стороны золовкой, княгиней Черкасской, с другой — мамушкой детей, плакала во весь голос, но не горестными, а радостными слезами. Вокруг нее теснились люди. А посреди горницы стоял в скромном иноческом одеянии величавый старец.

— Батюшка! — Миша первый кинулся в объятия Филарета.

— Братец! — Настя, забыв весь мир, рванулась к старшему брату вместе с Таней.

Благословив детей и сестру, Филарет подошел к жене.

Долго длились эти минуты...

И когда миновали они, ни рыжего боярина, ни его свиты не было уже в горнице...

Оставался один только юноша-стольник.

— Не признала меня, должно, боярыня Настасья Никитична?

И князь Кофырев-Ростовский с ласковым упреком глянул на девушку.

Настя узнала князя, которого не видела целых четыре года, но не переставала любить.

— Прости, княже! — обрадовалась Настя. — Какой милости, какого счастья дождались мы все наконец.

— То-то радость, боярышня! А я, признаться, боялся, не забыла ли меня. Вот еще недавно об этом брату говорил... Он со мною был в свите государевой...

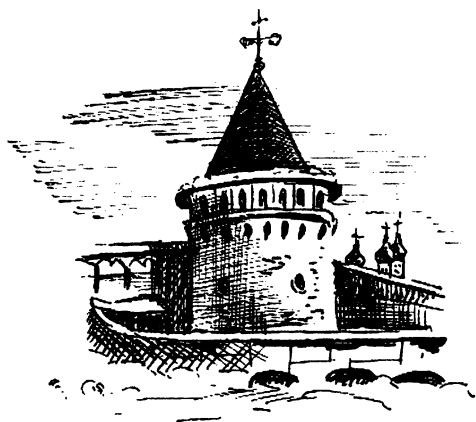
— Государевой? — словно эхо переспросила Настя. — Так этот рыжий боярин, государь московский? Дмитрий-царь?

— Он самый, Настасья Никитична, великий государь всея Руси Дмитрий Иванович... Но теперь, боярышня, дозволю удалиться... От царской свиты отставать мне негоже, как бы ни хотелось побыть с тобою, расспросить, поговорить... Коли будет твоя милость, к брату твоему Филарету Никитичу сватов зашлю. Долго ждал я, Настасья Никитична...

Настя молчала, но по глазам ее, по ее разгоревшемуся лицу князь понял, что она согласна, что с возвращением домой старца Филарета окончилась ее великая задача, и она, сдав ему детей и невестку с рук на руки, может смело отдаться собственному счастью с любимым человеком.

В тот вечер в крестовой палате романовского дома собралась вся семья. Сам отец Филарет, рукоположенный еще в ссылке в иереи, отслужил вечерню, после чего вся семья собралась на половине старицы Марфы.

Долго лилась задушевная беседа романовской семьи... Недавние узники рассказывали друг другу обо всем, что пришлось им пережить за годы испытаний и мук. Таня с Мишей наперерыв ластились к отцу. Они знали, что он недолго пробудет с ними. Его иноческий и иерейский сан требовал присутствия в одной из мужских обителей. А там ждали только приезда из Казани митрополита, чтобы рукоположить Филарета во митрополита Ростовского. И вся семья спешила наговориться с дорогим отцом, мужем, братом.







Когда ослабеют или изменятся начала: Православие, Самодержавие и Народность — русский народ перестанет быть русским. Он потеряет тогда свое священное трехцветное знамя!.. Плодом сего будет разномыслие: всякий о всем судит по своему, самовластие: всякий сам себе царь, и естественно после того, как у всякого стал свой ум царь в голове, разъединение и врозь — устремление сил: всякий о себе, и никто о других. Когда войдет все сие в жизнь и начнет быть преобладающим явлением, тогда начнется разложение, расстройство и уничтожение государственного тела.

*Святитель Феофан,  
затворник Вышенский (1815-1894)*



## ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ПРЕСТОЛУ

### 1

— **Н**е тоскуй, не кручинься, золотая моя Татьянаша, вернется к тебе жив и невредим твой ясный сокол. Не попустит Господь свершиться худу! И князь Михаил с Никитой Ивановичем, того и гляди, прискачут ужо!

Так утешала Настасья Никитична Романова свою восемнадцатилетнюю племянницу.

Пять лет почти миновало со дня возвращения Романовых из ссылки. Вот уже несколько месяцев, как вышла замуж Татьяна Федоровна Романова за молодого стольника князя Михаила Кофyreва-Ростовского, младшего из братьев-князей. А Настасья Никитична считалась уже пятый год невестой старшего брата его, Никиты.

Теперь оба князя, молодой муж Тани, Михаил, и его старший брат Никита вышли на защиту против врагов Москвы, присоединившись к рязанскому ополчению Прокопия Ляпунова. Несколько дней тому назад князь Михаил Кофырев-Ростовский привез свою молодую жену к ее матери, на романовское подворье, прося старицу в случае его смерти беречь Таню пуще глаза. А князь Никита, истомившийся долгим ожиданием брака с любимой девушкой, на прощание сказал Насте:

— Ну, коли и после этого похода ты не пойдешь за меня замуж, Настасья Никитична, так знать буду, что не люб я тебе...

А двадцатishестилетняя красавица Настя только покачала в ответ головой:

— И, полно, княже, такие ли дни, чтобы о свадьбе думать?

Тяжелые дни переживала Русь.

Недолго процарствовал отважный, дерзкий царь-самозванец. В начале мая праздновалась его свадьба с Мариной Мнишек и ее венчание на царство, а уже 17 мая толпа заговорщиков, во главе с Шуйскими, ворвалась во дворец и убила того, кто присвоил себе имя убитого царевича Дмитрия, престол и корону.

Лжедмитрий погиб. На престоле путем интриг оказался князь Василий Шуйский. Свое короткое

царствование он начал с того, что послал Ростовского митрополита Филарета с выборными боярами привезти в Москву нетленное тело царевича Дмитрия. Этим он хотел оградить народ от новых смут, созревавших вокруг имени Лжедмитрия. Тотчас же после гибели первого самозванца распространился слух о появлении второго Дмитрия. Распространителем такого слуха оказался князь Григорий Шаховской, сосланный на воеводство в Путивль. Он объявил жителям Путивля, что царевич Дмитрий жив, что ему удалось спастись.

Елец, Чернигов, Стародуб, Белгород поверили ему. Встали за него и северные города, за ними Рязань и Тула. Всколыхнулось все Поволжье. Мятежникам оставалось только найти человека, который бы сыграл роль лжецаря. И такой человек нашелся. Холоп князя Телятевского, находившийся в плену у турок и бежавший оттуда на Украину, некто Болотников. Болотников, соединившись с Шаховским, пошел против Шуйского, разбивая на пути посланные им навстречу войска и всюду распространяя слух о новом самозванце. К ним присоединились рязанские дружины, во главе с братьями-дворянами Прокопием и Захаром Ляпуновыми, и Тульская земля с боярским сыном Истомою Пашковым, недовольные правлением Шуйского.

Но скоро дворянское ополчение разошлось с болотниковскими шайками и принесло повинную царю. Болотников и Шаховской после ряда неудач заперлись в Туле. Сам царь Василий Шуйский во главе огромного войска осадил и взял город, выморив голодом мятежников. Их сослали и казнили, а царь торжественно вернулся в Москву, радуясь победе. Но преждевременной оказалась эта радость. В Стародубе-Северском из порубежного литовского городка появился новый самозванец, получивший впоследствии прозвище Тушинского вора.

Собрав отряд поляков, казаков и всяких проходимцев, он разбил при Болхове царское войско и подступил к Москве, основав в двенадцати верстах от нее в селе Тушино свой лагерь. Ему пришли на помощь польские дружины, во главе с князем Рожинским, разбойником Лисовским и Яном Сапегою. Сапега разбил войско брата царя, князя Ивана Шуйского, и осадил Троице-Сергиеву лавру в 1608 году.

В то же время король Сигизмунд, рассерженный тем, что московское правительство заключило союз с его врагами — шведами против тушинского вора, а племянник царский, князь Михаил Скопин-Шуйский, соединившись со шведским генералом Делагарди, действовал и против ту-

шинцев, разорвал мир с Москвой и осадил Смоленск, где воеводою был в то время смелый и доблестный Шеин. Князь Михаил Скопин-Шуйский после нескольких сражений подступил к Тушину. Но Тушино, прежде чем взяли его, распалось, и сам вор бежал в Калугу. Поляки частью ушли под Смоленск, частью разбрелись по окрестностям Москвы, грабя и сжигая все на своем пути.

Еще во время торжества Тушинского вора, когда города один за другим вставали под власть самозванца, дружины его подступили к Ростову, отважно державшему сторону законного царя.

Филарет Никитич, митрополит Ростовский, заперся с горожанами в соборе, убеждая их умереть, но не изменять царю.

Воровские войска взломали двери храма, напали на митрополита, сорвали с него облачение и на простой телеге, оборванного, в татарской шапке, нахлобученной ему на голову, отправили в Тушино. Однако самозванец принял его с почетом и, назвав патриархом, оставил в Тушине, как бы в плену.

Только с падением Тушина удалось вернуть в Москву митрополита Филарета.

В то же время многие московские бояре, недовольные правлением Шуйского и переходящие от

него на службу к Тушинскому вору, тайно послали просить Сигизмунда дать им его сына, королевича Владислава, в московские цари, поставив, однако, непременным условием принять православную веру.

Началась Смута. К довершению несчастья, спаситель Москвы, Михаил Скопин-Шуйский, неожиданно умер, как говорилось в народе, отравленный его завистником-дядей, братом царя Василия, Димитрием Шуйским, — умер после целого ряда побед над врагами царя. Вместо него, назначенного уже царем в поход против поляков, к Смоленску был послан Димитрий Шуйский.

Гетман Жолкевский наголову разбил этого воеводу под Клушином. Последнее обстоятельство больше всего подняло против царя Шуйского народ. Состоялся заговор, и 7 июля 1610 года Шуйский был свергнут с престола и насильно пострижен в монахи, а Москва присягнула боярской думе, поручив ей выбрать достойного царя. Дума вошла в сношения с гетманом Жолкевским, прося его помощи против тушинского вора, снова подкрепившегося в Калуге и подступившего к Москве, и обещала свое содействие в избрании королевича Владислава.

Жолкевский прогнал вора, заставив его снова бежать в Калугу, убедил бояр впустить поляков

в Москву и, очутившись в стенах ее, начать переговоры с Сигизмундом, посылая гонцов под Смоленск. Наконец он сам ускакал туда же, оставив начальствование над польским войском в Москве второму гетману — Гонсевскому.

Между тем, решив дело избрания в цари московские королевича Владислава, боярская дума, во главе со старым князем Мстиславским, пожелала послать почетное посольство к Сигизмунду под Смоленск.

Во главе этого посольства стояли Ростовский митрополит Филарет Никитич, князь Василий Васильевич Голицын, келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын и другие. Им было поручено просить королевича на царство. Но король Сигизмунд, сам задумавший сесть на московский престол, после долгих переговоров с послами велел заключить их под стражу и отправил с Сапегою в Польшу в качестве пленников.

К этому времени одним из своих приближенных был убит Тушинский вор. Между тем поляки хозяйничали в Москве как дома, всячески притесняя русских. Постоянные стычки с ними и пожары свирепствовали теперь на Москве. Кошунства со стороны поляков над православною верою и ее обычаями глубоко возмущали народ... Не по дням, а по часам росла смута... Патриарх

Ермоген, Казанский митрополит, выбранный еще при царе Шуйском, всячески радея о православной вере, слал грамоты во все города земли Русской, призывая истинных христиан постоять за православие и Родину.

И вот первой за честь Отечества и святую веру встала Рязань. Прокопий Ляпунов двинулся к Москве. К нему присоединились муромская, суздальская и поволжская дружины. Присоединилось после гибели вора и тушинское казачество, с Трубецким и Заруцким во главе... Готовился кровавый пир полякам... А смута в Москве росла и росла, и грозная туча надвигалась над столицей. Наступил кровавый и жуткий 1611 год.

Об этой-то смуте и говорила Настасья Никитична с Таней, сидя на женской половине терема романовского подворья.

Стояла Страстная неделя. Медленно таял снег на улицах... Апрельское солнце ласково пригревало землю. На Москве особенно буйно проходили эти дни. Русское земское ополчение со всех сторон обложило столицу. На Сретенке стоял уже князь Пожарский со своими полками. Поляки деятельно готовились к защите. Они приказали втаскивать пушки и снаряды на стены Кремля, подвозить провиант. Шумом, сутолокою и бранью наполни-

лись московские улицы. Этот шум доходил и до палат романовского подворья в Кремле.

Молодая княгиня Татьяна Федоровна Кофырева-Ростовская прислушивалась к долетавшим до терема крикам и пугливо жалась к любимой тетушке.

— Настя! Настюша! Да что же это такое? Чего же шумят они? Жутко, страшно мне, Настя! Хоть бы дядя Иван из думы приехал скорей, разузнать от него, либо хоть Мишу-брата бы отпустили! Авось узнаю от них про соколика желанного моего.

— Нельзя, лапушка. Миша, сама ведаешь, с той поры, как назвали его в стольники, должен охранять покои Грановитой палаты, где бояре-правители дела вершат... Дай срок, вернется Миша с дядей Иваном, все разузнаем, разведем, — утешала племянницу Настя.

— И про наших узнаем? — оживилась юная княгинюшка.

— И про наших, понятно! Недалеко они, в Ляпунову дружину оба ушли биться против ляхов поганных.

— И про батюшку?

Настя быстро вскинула на нее глаза.

— Нешто можно про Филарета Никитича узнать? Томится снова в плену твой батюшка, Та-

ня... В Тушине у вора проклятого томился раньше, нынче в Маренбурге дальнем, в Литовщине. За правду страдает отец твой, храни его Господь!

И Настя перекрестилась, глядя на образ.

Вошла старица Марфа, опираясь на посох. Эта еще далеко не старая женщина сильно пострадала и изменилась, переноса постоянные невзгоды. Вторичное заточение мужа, сначала у тушинцев, потом у Сигизмунда в Польше, заставило ее склониться под ударами судьбы. Но при виде дочери и золовки она приободрилась немного, стараясь успокоить их:

— Что, мои ласточки, притихли? Стосковались по своим соколам?.. Господь милостив, вернутся они скоро... Возьмут наши Москву. Выгонят ляхов поганных... Дай-то Бог, чтобы кончилось все поскорее! Тогда и Настину свадьбу сыграем... Ведь, почитай, уже пять лет как собираемся. Дай-то Господь!

Инокinya Марфа подняла сурово-печальные глаза к иконе и осенила себя крестом.

Шум на улице стал как будто слышнее, явственнее. словно огромная разъяренная толпа народа подошла к Кремлю.

Вдруг прозвучал выстрел, за ним другой, третий... Ахали самопалы... Звонко отзывались сабельные лязги.

Женщины бросились к окну.

Шум разгорался все больше и больше и наконец перешел в сплошной отчаянный гул.

И вот грянул набат... за ним басисто запел колокол на колокольне Ивана Великого... Опять загудел набат. И первые проблески зарева зааляли над городом.

— Москва горит! Ляхи бьют наших! А Миши нету! Где он, желанный, сынок мой! — простонала старица-мать, падая на колени перед божницей.

А гул все приближался. Разгоралось зловещее зарево над Москвою.

Марфа молилась... Молилась и Настя. Помертвевшая от ужаса, стояла юная княгиня Таня, глядя на образа...

Вот все слышнее, слышнее крики... Но это уже не сплошной гул... Можно различить одиночные голоса, приближавшиеся к подворью...

Еще мгновенье томительного ожидания, во время которого три женщины, казалось, не присутствовали на земле, унесенные вверх одним общим порывом отчаяния и молитвы...

Неожиданно распахнулась дверь терема. На пороге перед глазами матери, тетки и сестры, взволнованный, с лицом блее белого ворота рубахи, предстал юный русокудрый Михаил Федорович Романов.

Юный стольник был потрясен чем-то страшным, необычайным. За ним, не менее взволнованный, припадая на больную ногу, вошел думец — боярин Иван Никитич.

— Миша! Мишенька! Сынок мой ненаглядный! — Марфа прижала к себе сына.

Но он мягко отвел ее руки, упал на колени перед нею.

— Матушка! Матушка! Отпусти меня, родимая! — молил юноша. — Отпусти с ляхами биться, отплатить за обиды, за гибель наших, за посмеянье... На наших они накнулись! Сколько людей перерезали! Москву подожгли! Всех зарубить грозятся... Отпусти, матушка! Доколе терпеть станем!.. Я к Прокопию Петровичу либо к князю Пожарскому, как Никита с Мишей... Ведь бились они... На моих глазах... Отпусти, матушка! Благослови, родимая!

— Нет! — вскрикнула она резко, точно чужим голосом. — Не отпущу, Миша! Молод ты! Пятнадцатый год пошел!.. Убьют тебя, родимого!.. Не могу... Не просись... Господь свидетель, не пущу тебя, Миша.

— Да ведь бьют они наших! Убивают, матушка... Князя Михаила...

Миша внезапно осекся, глянув в широко раскрытые от ужаса глаза сестры.

— Что с Михайлушкой? Что с князем моим? Говори!.. Убили его, Миша?

Миша молчал. Тогда Иван Никитич, выступил вперед, подошел к Тане.

— Княгинюшка, племянница родимая! — он едва ворочал языком. — Мы с Мишей ехали из думы, видели все происшедшее. Столкнулись наши с ляхами у самых ворот Кремля... Дошло до боя... А нашим на подмогу из ляпуновского отряда смельчаки ринулись и сшиблись... С поляками. Не дали обижать невинных... Твой князь Михайла с братом Никитой верховодили схваткой. При нас упал князь Михайла... Кровь хлынула... Брат его подхватил на руки...

Но Таня уже не слышала его... Как подстреленная птица, упала она на руки матери и брата. Без крика, без стона...

— Да что ты, Танюша, Бог с тобой... Может, жив еще он... — утешал Иван Никитич.

И когда вбежал вслед за тем в горницу князь Никита Кофырев-Ростовский, юное сердечко уже остановилось от горя в груди Тани...

Молодая княгиня Кофырева-Ростовская без слез и без жалоб отошла в вечность.

## 2

Три дня горела Москва... То и дело вспыхивали кровавые схватки на улицах.

Гонсевский, оставив на произвол судьбы Белый город и Москворечье, выгоревшие наполовину, с поляками и теми боярами, которые держали сторону Владислава, заперся в Кремле. И хозяйничал там как дома.

Земское ополчение неразрывным кольцом оцепило столицу. Прокопий Ляпунов занял Симонов монастырь, князь Трубецкой из Калуги — пепелище Белого города, а казаки Заруцкого выискивали слабые места осажденных.

Не успевшие выехать в свои вотчины бояре с семействами поневоле очутились запертыми за крепкими стенами Кремля. Романовское подворье оказалось в центре осажденного города.

Были заперты в своем старом родовом гнезде и бояре Романовы.

\*\*\*

Опустив на руку кудрявую голову, сидит в своей горнице юный стольник бывшего царя Василия Шуйского Михаил Романов.

Несколько дней назад схоронил он вместе с убитым юным князем Кофыревым-Ростовским и свою умершую сестру Таню. Старица-мать день и ночь плачет по своей дочери... Ушел биться за спасение Москвы от поляков князь Никита Кофырев-Ростовский. Прежде чем присоединиться к полкам князя Трубецкого, он поклялся при Мише перед иконой жестоко отплатить ляхам за смерть младшего брата...

Просился было снова в ополчение и Михаил. Но старица Марфа только тихо стонала в ответ. И дрогнуло любовью и жалостью сердце отважного юноши.

Мог ли он оставить мать, осиротевшую, несчастную, в то время когда умерла сестра, когда отец томится в плену у ляхов в далеком Мариенбурге?

Но все же рвалась душа Миши в войско... Кипела обидой за Родину юная кровь... Прокопий Петрович Ляпунов, раненный в бою князь Трубецкой, Пожарский и даже разбойник казак Заруцкий казались ему героями, сказочными богатырями, пришедшими спасти Москву и ее святыни, а тем самым и всю Святую Русь...

Об этом целыми днями размышлял Михаил, сидя у себя в светлице. Пострадать за спасение Москвы, за веру православную — эта мысль не

давала ему покоя. День близился к концу, а Михаил и не думал ложиться... В раскрытые окна горницы вливался свежий апрельский воздух... Юным весенним дыханием дышала земля...

Легкое покашливание у дверей заставило юношу очнуться:

— Ты, Сергеич?

Это был он, верный дядька-дворецкий.

Глянув на него, Михаил замер от предчувствия нового несчастья.

— Что еще? Матушка? Здорова ли?

— Слава Господу, здорова старица-боярыня... А только святителю нашему грозит несчастье! — произнес старик.

— Патриарху Ермогену?

В дни несчастий, Филаретова плена, когда тушинские приверженцы напали на Ростов и увезли к вору митрополита Ростовского, и теперь, когда Филарет Никитич, отправленный в качестве почетного посла к королю Сигизмунду, был заключен под стражу, юный Михаил находил утешение у патриарха Ермогена. Часто бывал Миша у него в Чудовом монастыре, куда ляхи, с Гонсевским во главе, заперли Ермогена, продолжавшего рассылать грамоты по всей Руси с воззванием к городам подниматься и присоединяться к земскому ополчению... Немудрено по-

этому, что испугался Миша за любимого патриарха.

— Что с ним? Жив ли?

— Жив, жив! Успокойся, боярчик, а только видел я, что окаянный Мишка Салтыков, с Гонсевским-гетманом да с приспешниками своими, что Сигизмунду проклятому прямят, подъехали к Чудовой обители. Не к добру это, боярчик, в такой поздний час, не к добру!

— И дядя Иван с ними? — спросил Миша.

— Какое! Нешто Иван Никитич был когда заодно с ляхскими доброхотами? Завсегда он противу Владислава шел!.. Да то и худо, что нет его с ними, не приведи Господь, вызволять патриарха из несчастья некому будет...

— Пойдем, Сергеич! — решительно сказал Миша.

— Куда ты? Господь с тобою! К владыке все едино не пустят. Под семью замками заперт владыка. Себя только погубишь, дитятко!

— Я говорю, пойдем!

Миша точно окреп, вырос в эти минуты. Глаза его сверкали, губы сжались. И в его детском лице старый Сергеич неожиданно заметил черты энергичного и стойкого Филарета Никитича.

— Куда ж пойдем мы, дитятко? — растерянно спросил Сергеич. — Да и матушка-старица,

не ровен час, хватится, беспокоится, не приведи Господь!

— Сергеич, тебе хорошо ведомо, как дорога мне матушка, как жалею я ее, болезную мою. Но должен я узнать о владыке, помочь, чем можно, а коли придется лихо, спасти...

— Ох, Господи, тебе ли спасти его, дитятко?! — взволновался дворецкий.

Но Миша уже не слышал того, что говорил Сергеич. Стремительно нахлобучив шапку и застегнув запоны кафтана, он выбежал из горницы. Сергеич едва поспевал за ним.

Старым романовским садом, избегая улицы с ее крестцами, где то и дело звучала ненавистная польская речь, они пробирались в дальний угол подворья, примыкавший тыном к строениям Чудова монастыря.

Вот и знакомая лазейка, через которую когда-то Настя с тем же верным Сергеичем уводила детей в дом княгини Черкасской. Сейчас на дворе обители хорошо слышны ржание коней и громкая болтовня польских гайдуков.

Миша и Сергеич обогнули храм и готовились уже проскользнуть в сени самой обители, чтобы расспросить чернецов о патриархе, как неожиданно яркая полоска света вровень с землею, в глухом дальнем углу двора, привлекла их внимание.

— Глянь, Сергеич, тайник ведь это?.. Неужто здесь патриарх схоронен?

Миша присел к небольшому оконцу, откуда выходил свет, и заглянул туда.

В узком небольшом тайнике, похожем скорее на каменный мешок, нежели на обительскую келью, сидел патриарх Ермоген, величавый старец с иконописною наружностью древнего апостола. Худой, изможденный, с пламенными очами, он казался существом иного мира. Сухие руки покоились у него на коленях... Перед ним на столе лежал свиток.

Сквозь слюдяное оконце можно было расслышать все, что происходило в келье. Сначала было тихо. Но вот распахнулась тяжелая дверь... В тайник вошел Михаил Глебович Салтыков, ярый сторонник короля Сигизмунда, за ним гетман Гонсевский и несколько поляков.

Миша мог хорошо видеть, какой ненавистью загорелись глаза ляхов при виде патриарха.

Потом Миша ясно расслышал, как Салтыков подступил с целым градом обвинений к патриарху...

— Не мути, владыка, смирись! — басил он непристойно-громко. — Всем ведомо, что ты опять в Нижний Новгород грамоту посылать ладишь... И в лавру к архимандриту Дионисию

тож... А не ведаешь того, что ежели его величество король Сигизмунд сына нам пришлет на царство, от воров нам в этом, от разрухи спасенье одно... Вот в ополчении распри пошли... Воренка, сына Марины, атаман Заруцкий посадить на престол хочет... Так лучше ж признать царем корень королевский... Отпиши же в ополчении Ляпунову, чтоб распустить войска.

— Верно говорит вельможный князь! Отец патриарх на том должен согласиться! — вмешался Гонсевский.

Поляки, вошедшие за ним в келью, залопотали что-то, размахивая руками.

Патриарх поднялся.

— Неугоден Богу и народу православному царь латинской веры! — произнес он твердо, отчеканивая каждое слово. — И нет на то моего благословения! И доколе будут латинцы верховодить святынями кремлевскими, я, смиренный раб и служитель Господа, подниму голос свой и по всей Руси православной рассылать слово о спасении ее в грамотах стану... Муки, лютую казнь, смерть приму на том... Но не отрекусь от спасения Москвы, града престольного.

— Негоже говоришь, пан патриарх! — Гонсевский шепнул что-то Михайлу Салтыкову.

Тот так и рванулся в сторону святителя.

— Берегись, отче! — крикнул он с яростью, и нож блеснул в его руке.

Миша не выдержал:

— Владыку убивают! На помощь к владыке!

Но Сергеич удержал его.

— Гляди! Гляди! Жив он! Постой! Постой, боярчик!

Необычайное произошло в тайнике. Нож Салтыкова, которым тот замахнулся на патриарха, выпал у него из рук, точно по чужой, неведомой боярину воле. И перед рослым, широкоплечим Салтыковым вырос патриарх Ермоген.

Поднялась из-под черной мантии сухая рука святителя и осенила воздух широким крестом. Глаза сияли вдохновенно.

— Крест — моя единственная защита противу ножа твоего, изменник! — загремело по тайнику Чудовой обители.

Несокрушимою высшею силою веяло от него.

Дрогнул Салтыков, дрогнул Гонсевский, поляки... Как испуганные звери, отпрянули они к дверям.

Это был последний раз, когда Миша видел патриарха Ермогена.

И вскоре последнюю свою грамоту послал для Нижнего Новгорода патриарх Ермоген через Дионисия, настоятеля Троице-Сергиевой Лавры.

Потом поляки перестали давать пищу запертому в тайнике святителю, и патриарх Ермоген погиб мученической смертью, без ропота, как истинный ревнитель веры православной.

А осада Кремля все длилась...

Теперь Москвою правили трое: Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Но намечавшиеся еще при самом начале осады распри теперь окончательно расстраивали дело спасения Москвы от поляков. Особенно казачество вело себя буйно и непристойно-дико.

Воспользовавшись ложным слухом, распущенным врагами Прокопия Ляпунова, геройски честного и благородного военачальника, казаки подняли бунт, во время которого убили на раде (сходе) Ляпунова. После его смерти еще больший раскол наступил в войске. Многие стольники, дворяне и дети боярские разъехались по домам. Распустив большую часть земского ополчения, уехали и сами воеводы. Казаки с Заруцким разбрелись шайками по окрестностям и грабили все, что могли.

Сигизмунд, взявший Смоленск, послал в Польшу привезенного к нему царя-пленника Василия Шуйского, доставленного сюда Жолкевским. Бывшего царя с братьями отослали в Варшаву, а затем заточили в Гостынский замок.

Беда за бедою грозили России. Шведы заняли Новгород. В Пскове появился новый самозванец. И к довершению несчастий, страшный голод свирепствовал в Москве, где уже беспрепятственно хозяйничали поляки. Судьба запертых в Кремле бояр с их семействами вполне зависела от них. Казацкие полчища под видом защиты грабили жителей Москвы и окрестных поселян. Наступила страшная пора для Руси.

Государство гибло. Русь умирала в эту пору лихолетья мучительной, медленной смертью.

### 3

Поздним осенним вечером, когда все спали на романовском подворье, в светелке боярышни Настасьи Никитичны еще теплилась восковая свеча.

Сама Настя что-то спешно перебирала в тяжелой скрыне. Вот вынула оттуда темный смирный летник, скромную телогрею и совсем простой, без всяких узоров, девичий венец.

Проворно сбрасывала с себя обычный свой наряд боярышня и заменяла его простенькими одеждами, добытыми из скрыни. Переодевшись, повязала голову темным платком, низко опустив его на самые брови.

Помедлив посреди горницы, оглядев, словно на прощанье, родную светелку, где до шестнадцати лет протекало ее детство, Настя подошла к божнице и рухнула перед ней на колени.

— Господи! Творец Вседержитель! — молила девушка. — Прими жертву мою! Огради от горя-злосчастья несчастную семью нашу! Верни брата Филарета под сень родного гнезда... Помоги сестре Марфе вырастить и поднять Михаила... Дай им счастье, Господи, ценою моей жизни, ценою моей радости утерянной, дай! Прими жертву, Господи, от недостойной рабы Твоей, Господь Всесильный. Отведи карающую десницу Свою от дома сего! К Тебе прибегаю! Возьми жизнь мою, Владыка Небесный, братьям, сестрам, отроку Михаилу, всем им, всем пособи, Вседержитель Господь!

С этими словами замерла на мгновение, распростершись перед киотом, Настя. Не в первый раз так молилась она.

После смерти Тани и ее молодого мужа новое известие окончательно сразило романовскую семью. Плен Филарета в Мариенбурге оказалось, был не временный, а постоянный. О возвращении старца никто не смел и помышлять. Каким-то чудом доставленная грамота оттуда рушила последние надежды старицы Марфы и ее семьи.

И вот, после всех этих невзгод, новые мысли все чаще и чаще стали приходить в голову Насти. В ее любвеобильном сердце появилось новое самоотверженное желание — желание самоотречения, подвига, жертвы, на которую она решила принести себя... В душе девушки прочно воцарился образ князя Кофырева-Ростовского. Этой любовью и надеждою на скорое с ним соединение жила все эти долгие десять лет ее душа. Но не могли они строить свое счастье, когда гибла Русь и горе то и дело посещало романовский дом. Князь и девушка ожидали лучших дней. Последнее время, когда князь был в земском ополчении, Настины мысли приняли совсем иное направление.

Что, если она отречется от счастливого будущего и ясных надежд? Что, если спрячет под иноческий клобук голову, черной власяницей оденет тело и будет денно и нощно молить Бога о милости здесь же, в ближней, пока длится осада Кремля, обители, а потом, в родном Ипатьевском монастыре, отданном инокине Марфе вместе с возвращенными костромскими вотчинами? Примет ли ее жертву Господь? Отвратит ли от близких людей Свою грозную десницу? И она решила стать вечной молитвенницей за свою семью до самой могилы, до самой смерти.

Мамушка Кондратьевна была в заговоре с Настей. Ей поручено было тайно снестись с игуменьей ближнего монастыря, тайком от старицы Марфы вести переговоры. Та же мамушка принесла ответ Насте, что ныне к ночи ждут, как желанную гостью, неведомую боярышню в обитель.

Назавтра назначен был и постриг. Медлить было нельзя. И Настя собиралась поспешно, боясь, чтобы кто-либо не заметил ее ухода. Помолвившись, она вернулась к комоду. Вот вынула она оттуда сверкающие драгоценности, даренные ей в разное время старшим братом и невесткою... Вот подарки других братьев... Их отнесет она вместо вклада в обитель... А вот и дар жениха, золотой перстенок с алмазом...

Девушка медленно поднесла его к губам.

Вмиг стал перед нею образ князя... Зазвучали в ушах его ласковые речи... Знакомые, милые глаза желанного заглянули в душу. Огромной мучительной жалостью и любовью к нему дрогнуло сердце Насти...

Девушка едва устояла на ногах и только теснее прижала к губам перстень.

— Прости, Никитушка, желанный! Не сетуй, не кляни меня на решении моем, видит Бог, люблю я тебя, а только клобук иноческий да мо-

литвы мои грешные ради близких моих нужнее брачного венца...

И, уже почти спокойная, она обернулась на скрип отворяемой двери.

Вошла мамушка.

— Боярышня! Родненькая, желанненькая! Опомнись, пока не ушло время! Не покидай ты нас, боярышня, золотая, болезная моя! — просила Кондратьевна.

— Тише, мамушка! Не приведи Господь, услышит старица-сестрица либо Мишу разбудишь невзначай. Никто не должен знать, на что я иду... Отговаривать станут, просить, кручиниться, плакать, — отвечала ей Настя.

— Лебедушка наша! Может, осталась бы с нами лучше, — заикнулась было мамушка.

— Нет... Нет... Господь с тобою! Не смущай. Зарок я дала... Великую клятву посвятить себя Богу, вымолить долю брату плененному, ради инокини-сестрицы, ради Миши... А вот это, мамушка, возьми и князю Никите Кофыреву-Ростовскому передай. Скажи ему, что в недобрый час, зная, повстречали мы друг друга. И что до последнего часа своего буду его помнить, всю мою жизнь. — Настя вынула заветный перстень и передала его мамушке. Потом тихонько вышла из горницы в сени, сделав знак Кондратьевне следовать за нею.

Осторожно, на цыпочках, она заглянула в горницу к Мише. Старый Сергеич, крепко умаявшись, храпел на сундуке в углу. Миша, раскинув руки над кудрявой головою, безмятежно спал. Настя склонилась над ним.

— Господь с тобою, родной мой! Не уберегли Танюшу болезную, авось тебя убережем. Может, дойдут мои грешные молитвы до Бога, хоть ты увидишь счастье.

Еще ниже склонилась она над кроватью и осенила крестом Мишину голову.

В ту же ночь мамушка Кондратьевна, проводив Настю со слезами до ворот женской обители и оставив ее там на руках у игуменьи, возвратилась назад.

А с восходом солнца на двор романовского подворья на взмыленном коне прискакал всадник, отставший от разрозненных рядов земского ополчения, расходившегося по домам. С трудом пропустили его осажденные ляхи в Кремль.

Это был князь Никита Кофырев-Ростовский. В романовском подворье уже хватились Насти. Испуганная старица Марфа подняла на ноги всю челядь. Девушку искали по всему Кремлю, но тщетно. Насти и след простыл.

В отчаянии бросились к княгине Черкасской. Но и там не было Насти. Старица Марфа рыдала неутешно. Всем сердцем сокрушался Миша. В отчаянии был князь Никита, узнав об этом новом несчастье. Он спешил повидать свою невесту и не нашел ее... Было уже позднее утро, когда неожиданно перед князем Никитою появилась женщина и, передавая ему заветный перстенок, сказала:

— В ближнем монастыре твоя невеста, княже... Не выдавай меня... Не смела я рушить клятвы... А перед тобою молчать мне невмочь сейчас. Бери коня, скачи в обитель здешнюю кремлевскую... Может, и успеешь застать Настасью Никитичну в миру. Да меня не погуби за помощь боярышне!.. Ныне утром постричься думала Настасья Никитична... Авось поспеешь.

Едва дослушав, князь Никита поспешил в обитель. Надо было отговорить Настю.

Уже солнце стояло высоко на небе, когда князь входил под своды храма... Колокола звонили печальным, словно похоронным звоном... Поздняя обедня только что отошла. Длинная вереница инокинь и послушниц медленно выходила из храма. Впереди ступала стройная молодая монахиня. Князь как вкопанный остановился на паперти. Из-под черного клобука прощально глянули дорогие глаза.

Туман за клубился у князя в глазах, когда же он рассеялся, инокини уже скрылись в дверях обители.

Все было кончено... Любимая девушка исчезла навсегда для князя.

Жертва Насти была принята. Не стало боярышни Анастасии Никитичны. В обители вместо нее появилась смиренная инокиня Ирина.

## 4

Студеное октябрьское утро стояло над Нижним Новгородом. Первые заморозки заходили землю. Скупое осеннее солнышко слабо согревало ее. Волга надулась и потемнела перед тем, как уснуть на долгую зиму безмятежным и крепким ледяным сном.

Большой соборный колокол особенно четко гремел в чистом и ясном осеннем воздухе. Толпы народа, помолясь в соборе, выходили на паперть, когда к дверям храма подскочил на загнутой лошади полуживой от усталости вершник-монах.

— К отцу протопопу проведите! — он вынул из-за пазухи свиток, едва держась на ногах после долгой и томительной скачки. Его подхватили под руки и повели.

Протопоп отец Савва уже снимал облачение в ризнице, когда перед ним предстал гонец.

— От отца Дионисия, настоятеля Троице-Сергиевой Лавры, тебе, отче, и всем мирянам грамота. Прочти народу... Это святителя Еромогена последнее писание, — смог только выговорить тот, подавая свернутый в трубку лист пергамента.

Отец Савва быстро пробежал глазами свиток.

От имени Еромогена, патриарха Московского, незадолго до его смерти (писал келарь лавры Авраамий Палицын), через посредничество настоятеля Дионисия пересылалась эта грамота в Нижний Новгород. В грамоте говорилось о гибели Русской земли, об иге поляков, о бедственном положении Москвы, голоде, разбоях и великой разрухе Московского государства. Заканчивалась грамота призывом к нижегородцам во имя Бога сплотиться стеною и выйти вместе с другими городами постоять за Святую Русь.

Протопоп свернул бумагу и тут же велел службе звонить в колокола и собирать разошедшийся уже было по домам народ.

В несколько минут снова наполнился собор нижегородский. Загремело призывное слово святителя Еромогена и лаврских подвижников под сводами церкви. Прочтена была Троицкая грамо-

та. Вслед за тем яркой зажигательной речью полился призыв из уст протопопа:

— Православные христиане! Гибнет святая вера. Гибнет государство Московское... Еретики-латинцы надругаются над святынею нашею... Разоряют Родину нашу... Губят ее... Доколе терпеть станем, братие? Доколе подчиняться будем врагам веры и государства? Доколе спокойно глядеть будем на великую разруху Отчизны нашей?

Голос проповедника креп с каждой минутой... Все мощнее звучала его речь...

Под одобрительный гул закончил свою проповедь отец Савва. И едва замолкло последнее слово протопопа, как хорошо знакомый голос общего любимца нижегородского, честного и неподкупного земского старосты, мясника Козьмы Захаровича Минина, по прозвищу Сухорука, прозвучал на всю церковь новым призывом:

— На Красную площадь, православные! К Лобному месту спешите, братие.

Всколыхнулась толпа и бурным потоком хлынула на площадь. Весь Нижний Новгород собрался послушать старосту.

Почти на руках внесла толпа Минина на Лобное место.

— Православные! — загредел оттуда его зычный голос. — Слыхали, православные, гра-

моту святителя. Слыхали, что отец Савва говорил? Погибает Русь, святыни, вера наша... А мы глядим и ждем, как в земле нашей хозяйничают поганые ляхи!.. Чего ждем, православные? Гибнет Русь Святая! Погибает Москва! Горе нам! Горе нам, братья...

— Долой ляхов! Идем на спасение Родины! Отнимать Москву-матушку идем! — крикнул кто-то. К нему присоединились другие. И через несколько минут Лобное место уже дрожало от грозных призывов:

— Пойдем к Москве! Противу ляхов поганых! Вызволять святыни московские!.. Веру православную спасти!

Козьма Захарович обвел толпу взглядом, и снова загремел его мощный голос над головами собравшихся:

— Вызволим Москву, имущества своего не пожалеем, дворы продадим, жен и детей зложим... Ударим челом кому-нибудь из воевод достойных, чтобы повел наши дружины на выручку столице... Казны не пожалеем... Все, что есть, обратим на помощь ополчению... От каждого двора третью долю для своего дела откладывать будем... Добровольно жертвуйте, братья... Я сам, убогий, первый кладу, что имею у себя...

И, вынув кошель из кармана, Минин высыпал из него все содержимое в шапку.

Толпа заревела снова.

— Будь так! Будь так! Истинную правду молвил староста! Ничего не пожалеет, братие, для святого дела! Ни имения, ни животных!..

Посадские люди окружили Лобное место. Появились сундуки-укладни. Народ рассыпался по домам, чтобы вернуться к Лобному месту с пожертвованиями.

Мужчины несли казну, утварь, доспехи, меха; женщины — украшения: кольца, серьги, браслеты. Все складывалось на Лобном месте. Посадских звали в дома, передавали все то, что не успевали вытащить на площадь. Тут же выбрали Минина для заведования сбором.

А в следующие дни, под его же началом, нижегородские люди выбирали, кому поручить начальство над войском.

В то время близ Суздаля, у себя в вотчине, лечился от ран князь Дмитрий Михайлович Пожарский. К нему отправили гонцов от Минина с просьбою нижегородцев стать во главе ополчения.

— С радостью соглашусь служить великому делу, ежели изберете из достойных людей такого, кому ратной казной заведовать, чтобы на нее содержать войско, — отвечал послам Пожарский.

Гонцы вернулись с княжеским словом в Нижний Новгород, и всем городом был единогласно избран Минин в помощники князю-воеводе и заведующим ополченской казной.

С того же дня начался и сбор ополчения. Разосланы были грамоты по ближним поволжским городам, затем и по дальним. Решено было собираться ополчению в городе Ярославле. В первых числах апреля сюда пришли первые ополченцы. Здесь они простояли четыре месяца, не решаясь двинуться к Москве без подкрепления от остальных городов. Здесь же образовалось временное правительство. Князь Димитрий Пожарский с Мининым, с Ярославским митрополитом Кириллом, с духовенством и боярами-воеводами образовали Земский совет. Пока со всех сторон в Ярославль стекались из других городов ратные люди, «Совет всея земли» — как называется этот совет — положил: в Новгород отправить послов для мирных переговоров с укрепившимися в нем шведами, посулив им выбрать шведского королевича в московские цари. На Украину, в свою очередь, послать грамоту с приказом уйти от вора, появившегося там, и присоединиться к ополчению.

Что касается казаков, то они сами ушли от Заруцкого и присоединялись к ополчению.

Наконец в августе ополчение двинулось к Москве.

Заруцкий, хозяйничавший под Москвой, узнав об этом, ушел с остатком войска в Коломну, а оттуда в Рязанскую землю.

Остатки войска Трубецкого, державшие в осаде Москву, посланы были навстречу Пожарскому звать его «стояти в таборы», то есть присоединиться к ним.

Но Пожарский, хорошо зная разбойничью распушенность казаков, отказал Трубецкому.

Гетман Ходкевич, посланный королем Сигизмундом в помощь сидевшим в осаде в Кремле полякам, быстрым ходом приближался к Москве. Но он опоздал, князь Пожарский уже стоял на левом берегу Москвы-реки. Казаки — на правом.

Ходкевич напал на дружины Пожарского.

Казаки сначала спокойно смотрели на битву.

Поляки начали одолевать.

И тут-то не выдержали русские сердца.

— Бьют наших! Поможем своим, братцы! — крикнули казацкие атаманы и, слившись с ополченскими дружинами, ударили по полякам.

Бой разгорался... Земля стонала от лязга оружия, от пушечной пальбы и воплей погибающих... Кровь русская и польская, смешавшись, лилась рекою.

Но самое жуткое было еще впереди...

Наступило 24 августа, решающий день для ополченцев и осажденных в Кремле поляков.

## 5

С самого раннего утра уже загремели пушки. Дым от мортир серым туманом клубился над Москвою. Трескотня самопалов и лязг сабель сливались с воплями раненых и стонами умиравших. Хмурое небо окрасилось заревом от загоревшихся строений. Зловещим казался этот пурпур небес. И такой же пурпур заливал землю.

Всю ночь на стены Кремля втаскивали все новые и новые заряды.

Иногда открывались стремительно ворота Кремля и польский отряд с саблями наперевес выступал из засады. Быстро закрывались ворота, задвигались тяжелыми засовами, и вновь ждали осажденные возвращения своих лазутчиков.

Сам гетман, пан Гонсевский, руководил стрельбою на стенах Кремля. Но голодные, изнуренные поляки брали неверные прицелы. Бесплезно ухали мортиры, не принося особого вреда тем, кто бился там, внизу, в Китай-городе и на

Москворечье. Пань ротмистры то и дело подбодряли устававших, измученных солдат.

Им сулили скорую победу, напоминали о том, что его величество король на выручку им прислал Ходкевича с полками и провиантом.

И, собрав последние силы, измученные поляки посылали свое «Виват!» с высоты стен Кремля...

На высокой звоннице Чудова монастыря, притаившись за колоколом, стояли юноша лет пятнадцати-шестнадцати и старик. Отсюда они могли видеть весь ход сражения.

— Глянь, Сергеич! Наши дрогнули... Отступают... Господь Всесильный! Сам гетман Ходкевич ударил по отряду, коим князь Никита Кофьев воеводит. Гляди, гляди, Сергеич, никак дрогнули его люди, обращаются вспять!

Миша узнал его сразу, с начала битвы, хотя с первого земского ополчения не видел князя Никиты. Доходили слухи, что он, после потери брата и пострижения невесты, уехал из Москвы, попал в Ярославль в те дни, когда там набиралось ополчение, и поступил под знамена Минина и Пожарского.

Миша и Сергеич давно приметили князя, бесстрашно бившегося впереди своего отряда.

С волнением юный Романов следил за битвою. И снова сердце его, как прежде, замирало от жгучего желания прийти на помощь своим, собрать тайно от поляков все романовскую челядь и отвести ее самолично под начало того же князя Никиты либо другого воеводы... Но слезы старицы Марфы, ее ужас перед разлукой с ним охлаждали пыл отважного юноши.

Начинало смеркаться, а битва все не утихала. Сергеич несколько раз напоминал молодому боярчику, что беспокоится матушка-старица его долгим отсутствием, а Миша все не решался оставить своего поста. Прибегали челядинцы с романовского подворья и снова уходили, чтобы отнести Марфе Ивановне свежие вести о ходе сражения. До самых сумерек не прекращалось оно. Окопы по несколько раз в этот кровавый день переходили из рук в руки.

Ходкевич со своими полками наседали на дружины Пожарского. Казаки снова бездействовали, предоставляя управляться с врагами земскому ополчению. Вот-вот, казалось, дрогнет ополчение, изнуренное долгим боем, воины поддадутся врагу. Тогда Минин, зорко наблюдавший за битвой, подскакал к князю-воеводе. Вожди совещались недолго. Что-то просил Минин. Ему утвердительно отвечал Пожарский. И вот, с низко надвинутым

на глаза шеломом, в забрызганной вражеской кровью бранной кольчуге, недавний земский староста и мясник, как заправский воин, пошел на врага.

Взяв у князя-воеводы три конных сотни, Козьма Минин сам повел их со стороны Крымского брода.

Этот натиск был так внезапен, что поляки смялись. Расстроились их ряды и, дрогнув, ударились в бегство к гетманскому стану. Минин преследовал их. Вокруг него, под ударами отбивавшихся врагов, таяли лучшие силы ополчения. Родной племянник Минина рухнул замертво с коня, залитый кровью. Несколько молодых бояр упали тут же. Но это не остановило Минина. Только сердце сжалось от боли да энергичнее заработала его сабля.

На помощь ему неслись казачьи сотни. Сам Авраамий Палицын прислал их из-за реки.

Пользуясь сумерками, он пробрался в казачий стан и убедил казаков спешить на помощь ополчению.

Ходкевич был разбит. Доставленный им в Москву провиант захватили ополченцы.

Со своей вышки Миша видел Минина... Видал гибель его племянника, русских воинов... На его глазах знакомый белый конь князя Никиты упал со своим всадником на землю...

Миша снял шапку и перекрестился. Вещее сердце почуяло, что не встанет больше с земли молодой князь...

Сумерки сгущались сильнее. Стало трудно различать битву. «Виват» поляков покрыли торжествующие крики русских:

— За веру православную! За Святую Русь!

В дальнем стане поднялись хоругви. Наспех подбирали мертвые тела. Уносили раненых. Служили молебен за дарованную победу.

— Пойдем, боярчик-батюшка. Матушка боярыня, старица, истомилась, я чаю, ни жива ни мертва. — Сергеич тронул Мишу за руку. — Не воскресить все едино ни князя Никиты-витязя, на поле брани кончину восприявшего, ни других православных! Господа Бога надо благодарить, что отбили у ляхов снедь и самих их прогнали, окаянных! Не скоро сунутся они теперь.

Старик трижды перекрестился на купол Чудова храма.

Молча пошел Миша к себе на подворье. Старик-воротник, узнав в сумерках юного хозяина, выпустил его.

Юный Романов взошел на крыльцо и остановился на минуту, чтобы успокоиться немного, прежде чем показаться матери. Затем он переступил порог горницы.

Его мать была не одна в светелке.

Здесь находились княгиня Черкасская и Иван Никитич, бывший думский боярин, едва державшийся на ногах от болезни. Он уже не вмешивался в дела правления, там заседали братавшиеся с гетманом бояре, сторонники Сигизмунда.

На лавке, скрывшись в темном углу горницы, сидела не то инокиня, не то странница.

— Наконец-то вернулся, голубь мой сизокрылый! — обрадовалась старица Марфа. — Истомились мы, тебя дожидаясь...

— Матушка! Победили наши! Отступили ляхи поганые! Отбили у них возы с хлебом... Не попасть им в Кремль!

— Верно ли? Так ли, сыночек?

— Верно, матушка! Спроси Сергеича! Сами видели, как наши гнали ляхов.

— Стало быть... — вставил свое слово Иван Никитич, — надо готовиться всем нам к голодной смерти... Последних воробьев поели в эти дни в осаде... Хлебушка давно не пекут, мука вся вышла... Что ж! Слава Тебе, Господи, что не удалось мучителям Отечества получить припасы!

— Слава Тебе Господи! — повторили за ним женщины и перекрестились.

— Зато вера торжествует православная... Господь помог над ляхами одержать победу...

А голод не страшен... Сам патриарх Ермоген голодной смертью преставился, и нам, грешным, по его святому примеру не так страшно будет умирать!

— Истинную правду сказал ты, племянник, — раздался за спиною у Миши знакомый голос.

Он живо обернулся.

— Настя! Настюша-голубушка, откуда ты?

Миша бросился обнимать неожиданную гостью, которую уже не думал увидеть когда-либо.

Час тому назад гостя смиренно постучала в ворота романовского подворья и упала в объятия ошеломленной старицы Марфы.

Чтобы вместе пережить страшное время, пришла из своей обители молодая инокиня Ирина. Ведь никто из осажденных уже не сомневался, что для Москвы наступали последние дни!.. Голод и месть запертых в осаде озлобленных поляков не сегодня-завтра должны были обрушиться на бояр и их семейства.

Ирина пришла разделить со своими последнюю участь.

Измученная за это злосчастное время, она смотрела сейчас на своего любимца Мишу. Кто знает, что может случиться завтра, когда изголодавшиеся ляхи будут рыскать по домам бояр,

отыскивая добычу и пищу?.. О, если бы князь Никита был здесь... Он молодой и смелый... Он сохранит Мишу, и сестру-старицу, и всю семью!

Ирина вслух выразила эту мысль.

Тяжкий вздох вырвался в ответ из груди Миши. Карие глаза юноши опустились под зорким взглядом тетушки.

И по этому вздоху, и по опущенному долу взору молодая инокиня поняла все...

— Князь Никита? Где он? Изведал ты о нем что-либо? Жив ли он? Убит? — расспрашивала Настя.

Миша поднял голову...

— Родимая... видел я... сам видел, как князь Никита замертво упал под ударом вражеским...

И Михаил прижался кудрявой головою к плечу инокини.

Она ниже надвинула на глаза иноческий платок и смиренно сказала:

— Господь ведает лучше нас в добре и в лихе... И да будет Его святая воля над всеми нами во веки веков.

— Аминь! — так же смиренно ответила старица Марфа.

Победа над Гетманом Ходкевичем не замедлила отозваться на судьбе осажденных. Отнятые ополченцами Пожарского у поляков хлебные

и другие припасы вырвали последнюю надежду на пропитание у кремлевских сидельцев.

Призрак начинающегося еще до этого голода теперь разрастался до величины огромного несчастья. Поляки зверьми смотрели на богатых бояр, хотя пан Гонсевский всеми силами удерживал их от грабежа.

В то время в Грановитой палате сторонники Сигизмунда писали новые грамоты польскому королю, торопя его прислать королевича Владислава на царство. Но русское ополчение сторожило осажденный Кремль, и только от разбитого Ходкевича польский король узнал о полном поражении и бегстве его войска.

## 6

Снова на дворе октябрь, но не радостно-ясный и румяный по-прошлогоднему... Непрерывные дожди обратили в болота московские улицы, площади и крестцы... С утра до вечера моросит нудный, неприятный осенний дождик. Солнце не выглядывает из-за облаков целыми неделями. Тяжелая картина разрушенной пожарами Москвы кажется еще печальнее в эти пасмурные дни. Но в осаждающих Кремль дружинах царит бод-

рое и светлое настроение... Еще немного терпения, одна, другая неделя, и замученные голодом и болезнями поляки должны будут сдаться поневоле.

Несколько дней тому назад казаки приступом взяли Китай-город. В Кремль был послан гонец с грамотой от князя Пожарского. «Полковникам и всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле» — так начиналась эта грамота с убеждениями прекратить напрасную распрю, сдаться, открыть ворота Кремля. «Этим, — говорилось дальше в грамоте, — сбережете ваши головы в целости. Присылайте к нам, не мешкая, а я возьму на свою душу и всех ратных людей за вас упрошу, которые из вас захотят в свою землю, тех отпустим без всякой зацепки, а которые захотят служить московскому царю, тех пожалуем по достоинству».

Так заканчивалась грамота главного воеводы.

Народ, только отстояв обедню, выходил из Успенского собора, когда несколько гайдуков появилось на паперти храма, сзывая толпу на Красную площадь Кремля.

Горсть запертых в кремлевской осаде вместе с ляхами москвичей, похожих скорее на тени, чем на живых людей, в страхе ринулась, подгоняемая поляками, к Лобному месту. По большей части

это были холопы, челядинцы бояр, кремлевских сидельцев.

На площади слышна была всюду быстрая польская речь.

С Лобного места читалась присланная грамота.

Едва только думский дьяк закончил чтение и сошел с Лобного места, невообразимый шум поднялся в толпе.

Польские ротмистры и полковники заносчиво кричали, что скорее взорвут Кремль, нежели откроют ворота и сдадутся лапотникам, земскому ополчению. Ведь им досконально известно, что сам его величество король Сигизмунд спешит на выручку осажденному в Кремле отряду.

Высокий черноусый поляк в красном кунтуше, бледный и худой, как все находившиеся в осаде, особенно горячо убеждал своих соотечественников ответить на присланную грамоту гордым отказом.

— Что ж делать, рыцари! Нет провианта, но есть вино, и в царских погребах, и в боярских. Пустим солдат по подворьям... Пусть порыщут в боярских теремах, авось и соберут чего...

— Ни, пан, не можно этого, наш гетман приказал не грабить бояр, — слышались робкие голоса из толпы.

— Что нам пан гетман? Пан гетман дружит с москвичами, в то время когда достойное рыцарство гибнет с голоду... Пану королю одному отвечать будем, — неистовствовали другие.

Поднялись споры, крики:

— Давно пора добираться до фуража. Наши люди мрут с голоду как мухи!

— Пускай гетман велит открыть боярские погреба!

— Хлеба! Хлеба, а не вина нам надо! — кричали одни.

— Во хмелю легче перенести голод! — отвечали другие.

Небольшая группа русских со страхом прислушивалась к этим крикам. Высокий худощавый старик, как только начался шум и споры, незаметно вынырнул из толпы и пошел к романовскому подворью. Это был Сергеич.

Он уже не шел, а бежал так быстро, насколько позволяли ему дряхлые ноги. Голова старика кружилась и от голода и от пережитого волнения. Что же это? Перепьются ляхи поганые, по домам бросятся, грабить начнут... Придут и на романовское подворье. Да нешто позволит им это он, Сергеич, с боярскою челядью? Биться за своих хозяев они станут. До последней капли крови оберегать их имущество и жизнь. А только что

они, горсточка холопов верных, поделать смогут среди стольких злодеев, озлобленных, голодных, готовых на зверство и лютость во хмелю? Сергеич почти бегом достиг ворот подворья. Приказав мимоходом крепко-накрепко держать ворота на запоре, он прошел в дом.

Вся семья была в сборе. Миша успокаивал мать. Молодая инокиня Ирина совеща­лась вполголоса с княгиней Черкасской.

Один только Иван Никитич отсутствовал. Он был на совете у князя Мстиславского, по поводу присланной грамоты от воеводы.

Сергеич повалился в ноги своей боярыне.

— Матушка боярыня, Марфа Ивановна, лихо пришло! Бунтуют ляхи окаянные... По подворьям рыскать ладят, снеди да браги искать хотят. Изморились их людишки вконец... Мало того, что коней поели да псину с кошатиной, сам своими ушами слышал, перед обедней толковал народ, как гайдук своего умершего ребенка есть зачал... Едва отняли... С голоду ума лишился человек. Так нешто от таких злодеев ждать чего хорошего можно?.. Озверел народ... Матушка боярыня, дозвожь тебя спрятать с Мишенькой да с боярыней-княгиней и с боярышней-инокиней... Чего доброго, нынче же набегут злодеи... Мы-то все грудью за тебя с семьею станем... Да нешто нам

справится будет с ними? Так куды лучше было бы в тайник вам всем перебраться, в подклети, где укладки с мехами на летнее время хороним, а я велю коврами там пол устлать да стены, постели перенести туды... Да дверь-то потайная там, не видать будет ее в стене... Ин и переждете лихое время... А придут злодеи, мы их не подпустим... Грудью все до единого ляжем, вся челядь, как есть... Только бы вас спасти от беды неминуемой, бояр, государей наших...

Миша усадил старика на лавку.

— Хорошо ты придумал, Сергеич, матушку и теток схоронить в тайнике... А я с тобою да с холопами охранять их буду. Самопалы возьмем, а сабли прежние батюшкины холопам раздадим... У ворот станем... И пусть только сунется сюда хоть единый лях...

Марфа обвила руками голову сына, прерывая эти пылкие речи.

— Никуда не пойду без тебя, сокол мой, голубь мой, Мишенька! Не разлучусь с тобою... Без тебя не стану хорониться в тайнике.

Глаза юноши потухли.

— Матушка, дозвожь тебя и теток защищать мне с челядью!.. — взмолился было снова юноша.

Инокиня Ирина выступила вперед.

— Полно, Миша, не к месту твоя отвага... Нешто не видишь, лица нет на матушке твоей?! —

— Хорошо, не тревожься, матушка! — Михаил взглянул на мать. — Не посмею послушаться тебя.. С тобою пойду... В тайнике запрюсь, матушка, только не кручинься, не бойся за меня, родимая!

Слушая эти речи, старица Марфа понемногу приходила в себя. Мучительные дни, голод, лишения — ничто не страшно для матери, когда сын подле нее.

## 7

— Пуше зашумели на крестце! К обители подбираются! — Инокня Ирина взглядывала на сестру, невестку и племянника.

В небольшом тайнике, находившемся в подклетах, кладовых романовского подворья, три женщины с Михаилом томились уже вторую неделю. Здесь укрыты они от врагов стараниями Сергеича и челяди. Тот же верный Сергеич с холопами сторожит их неустанно и доставляет сюда, в тайник, все необходимое для своих бояр, пищу и питье два раза в день. Незавидная эта пища. Остатки богатых запасов давно иссякли

в романовских кладовых. Уже около года длится осада Кремля, и за этот год, лишенные свежих подвозов, все, до последнего куска солонины, съели осажденные. Теперь сама старица не знает, чем кормит их верный слуга. А Сергеич, питающийся сам одною капустою, как и вся челядь, умудряется, частью из остатков запасов, частью из другой добычи, устраивать полдники и ужины для несчастной семьи. Но этого не хватило на долгое время. И вот старик каждое утро выходит из подворья под видом нищего и направляется к знакомому купцу, случайно очутившемуся в осаде. У того в доме, где он поселился поневоле до снятия осады, еще не опустели кладовые. Запасся купец не на один год мукою и другою снедью и делится с Сергеичем по-братски, знает, ради кого хлопочет старик. Мученики они, Романовы, так как же не порадеть для людей, невинно страдающих всю жизнь!

Опасны эти хождения дядьки-дворецкого. Голодные поляки, как звери, рыщут по Москве, вынюхивая добычу. Пан гетман Гонсевский силою, под угрозой пыток и смертной казни, удерживает их от желания врываться в дома бояр и грабить их кладовые.

Сергеич говорил правду, что люди, обезумевшие от голода, готовы поедать трупы умерших.

Ужасный голод свирепствовал среди осажденных. Только в часы опьянения забывалось о нем. Но были еще более жуткие мгновения, когда польские гайдуки накидывались на винные бочки, то и дело выкатываемые из кремлевских погребов и подклетей домов, оставленных боярами.

А король Сигизмунд между тем приближался к Москве со свежим войском. Голодные поляки ожили при этом известии, становились наглее с каждым днем, с каждым часом.

— Сам король идет к нам на выручку! Наградит нас за долгую лихость и покарает изменников! — говорили эти полуживые от голода, опьяневшие от сознания близкой наживы люди и ждали лишь удобного мгновения, чтобы начать грабеж.

Обо все этом только что сообщил вернувшийся из своего последнего «похода» Сергеич.

— И то верно, пожалуй. — Инокня Ирина тревожно прислушивалась к глухому шуму толпы, доносившемуся с крестца. — Никак, грабят уже поблизости.

— О Господи! Близехонько от нас... — простонала княгиня Черкасская. — Уж кончали бы скорейча! А то вторую седмицу сиднем сидим здесь... Истомились и мы, и Мишенька! Ждем равно казни смертной!

Марфа с укором взглянула на старшую золовку, потом перевела печальные глаза на Мишу.

Как изменилось дорогое лицо за эти десять дней жизни впроголодь, в ожидании нападения и при постоянном усилии скрыть от матери и тетки муки, переживаемые юношей!

«Правда, княгинюшка! Уж скорее бы! Хоть один конец! Смерть легче этого томления!» — мысленно соглашалась несчастная старица-мать.

И казалось, сама судьба подслушала это желание... Крепче, сильнее зашумела толпа на крестце... Точно двинулась вдоль улицы к романовскому подворью... Глухо доносятся до тайника громкие крики... Польская брань... Лязг сабель... Шаги целого отряда... Вот у ворот остановились как будто... Удар один, другой, третий...

Женщины переглянулись между собою... Миша рванулся вперед... Нежные руки матери обняли его крепко... Сергеич кинулся из тайника, духом перебежал двор и дрожащим голосом крикнул из-за ворот подворья:

— Проваливайте, не то палить будем, а ворот не откроем злодеям... Ни в жизнь!

В ответ на эти слова раздался знакомый голос Ивана Никитича:

— Впускай, Сергеич, пускай, ради Господа! Я, как боярин твой, приказываю тебе!

Гнетущее чувство охватило женщин и Мишу, когда они остались одни. Никто из них не сомневался, что на верную гибель побежал отважный дворецкий. Никто из них не сомневался, что поляки ворвутся к ним...

Княгиня Черкасская упала на колени перед иконою. Тихо молилась инокиня Ирина. Обвивать руками, шепча слова успокоения, ждал своей участи Михаил.

Вот сильнее шум за стенами тайника. Стучат, лязгают саблями... Ближе, ближе... Распахнулась дверь...

На пороге стоит Иван Никитич, с ним старый польский ротмистр с сивыми усами и Сергеич. За ними поляки.

— Дядя! — вскрикивает Миша, бросаясь к боярину.

Тот наскоро обнимает племянника.

— Сестрицы! Миша! Собирайтесь! Идем отселе! Князь Дмитрий Михайлович наказал гетману всех боярынь с детьми выпустить из Москвы.

Стон облегчения вырвался из уст присутствовавших:

— Спасены!

— Куда, куда ты поведешь нас, братец? — спросила инокиня Ирина.

Но тот молча взял за одну руку Мишу, за другую старицу Марфу и, наказав двум сестрам следовать за ними, вывел их из тайника на романовское подворье, оттуда на улицу. Отряд поляков с начальником-ротмистром, бряцая саблями, замыкал шествие.

Вот миновали улицу, крестец, вышли на площадь. Там уже ждала небольшая группа людей: седой как лунь князь Федор Иванович Мстиславский, Шереметьев с семьею, Сицкие.

— Спасены! Спасены! — несется по площади кремлевской. — Слава Тебе, Господи!

Широко распахнулись Спасские ворота, и заключенные русские боярыни, окруженные польской стражей, вышли из Кремля. И снова запахнулись за ними тяжелые ворота Кремля. Теперь перед освобожденными находилось ополчение, родные русские лица.

Но почему же так хмуры они?.. Ближе всех находятся к ним казаки Трубецкого. Их лица искажены злобой, глаза полны ненависти... Взоры, встречающие боярские семейства, горят как у волков. Марфа ловит на себе один из таких взоров и берет за руку деверя.

— Что ж это, Иван Никитич?

А кругом, словно рокот прибоя, нарастает казачий ропот...

— Ишь, вороги наши! С ляхами якшались погаными! В Кремле целый год запирались! Ограбить их за это! — выкрикивали казаки.

И крепче уже сомкнулось кольцо бунтующих вокруг беспомощных и безоружных боярынь. Все это не предвещало ничего доброго для несчастных незащищенных семей боярских. Вот вырвался из толпы дюжий донской казак и вплотную подошел к старице Марфе, глядя жадным взором на меховую накидку, обвинявшую ее плечи. Протянулась было за добычей рука казака. Вдруг юный Михаил встал между ними.

— Не смей подходить к матушке! — И с остротой блеснули глаза юноши... Этот взгляд сильнее грозного окрика боярина Ивана Никитича подействовал на казака, он отступил перед смелым юношей.

В тот же миг подскакал князь-воевода.

— Добро пожаловать! — произнес князь Димитрий Михайлович, сходя с коня и приветствуя кремлевских сидельцев. — Ведомы нам были муки ваши и долготерпение... И наказали мы ляхам выпустить вас... Животы их зато сохранить посудили, когда станем брать приступом Кремль... Свободны вы, матушки боярыни. Куда прикажете, туда и доставим вас всех. Дома здешние разорены у многих из вас, так я приказал

в Китай-городе палаты заготовить на случай... Первое время потеснитесь пока что...

Потом он склонился перед старицей Марфой и Иваном Никитичем с сестрами и племянником и добавил:

— А вас, господа бояре и боярыни Романовы, куда доставить прикажете?

Старица Марфа задумалась на мгновенье.

Нет, нет, в Москве ей не место ныне. Слишком много настрадалась она, чтобы оставаться здесь. Да и опасно это. Еще, не приведи Господь, крепче озлобятся против них казаки. Не поняли они, что не по своей воле заодно с врагами отсиживались, запертые поляками, семьи русских бояр в Кремле. Довольно с нее переживаний, ужасов и страхов!..

— Вели нас доставить в Кострому, княже, в дарованную нам Ипатьевскую обитель. Отдохнуть и помолиться душа просит после всех горестей, обрушившихся на нас...

— Твоя воля, боярыня-старица! — поклонился ей снова главный воевода.

Казаки, еще незадолго до того смотревшие с ненавистью на боярскую семью, теперь с тихим ропотом отхлынули назад, совещаюсь между собою:

— И впрямь, видно, не по своей воле в осаде с ляхами якшались бояре! Правы да невинны они,

ежели сам князь-воевода оказывает им честь да почет.

Еще через неделю, побежденные голодом, измученные годичною осадой, поляки сдались.

Ворота раскрылись настежь, и ополчение вошло в полуразграбленный Кремль.

Торжественно был отслужен молебен в Успенском соборе. Сам архимандрит Дионисий, настоятель Троице-Сергиевой Лавры, во главе ополчения, первый вошел в собор. Зазвонили колокола во всех уцелевших после пожара и разорения церквах московских, и толпы измученного народа, разбежавшегося по окрестностям, стали стекаться в Москву. Король Сигизмунд повернул с дороги обратно, узнав о сдаче Кремля.

Лишь только отдохнули немного от всех пережитых ужасов москвичи и земское ополчение, как о новом важном и радостном событии оповестил народ князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Решено было избрать царя «всей землею». Полетели гонцы с грамотами по всей России, по всем городам Русского государства с приказом немедленно прислать выборных людей, из духовного, боярского, дворянского и торгового сословий, из посадских людей и уездных — по десяти выборных из каждого города.

Когда они съехались, был назначен трехдневный пост. Служились молебны. Молились Богу усердно, чтобы вразумил людей, кого выбрать в цари. Великий собор долго не мог прийти к окончательному решению. Подавались записи за бояр старинных русских родов, назывались имена князей Голицына, Мстиславского, Трубецкого... Называлось нерешительно и другое имя...

Земский собор раскалывался. Начались распри.

И вот в одно из заседаний из толпы галицких выборщиков выступил человек, дворянин родом. Заявил он, что ближайшими по крови и родству русским царям являются бояре Романовы. И тотчас же следом за этим на столе перед князьями, боярами и воеводами очутилась записка с уже несколько раз произнесенным на соборе именем. Ее торжественно положил на стол донской атаман.

— От меня записка эта, принимай, князь-батька! Кому же, как не ему, быть царем?

Молчание воцарилось в Грановитой палате.

В памяти донца-атамана промелькнула снова картина осажденного Кремля... широко раскрытых ворот крепости и выхода из нее боярынь...

Необычайно ярко представилось атаману, как метнулись было его казаки к освобожденным — ограбить боярские семейства. И он не остановил

их... Был и он озлоблен, как и товарищи его, на всех кремлевских сидельцев, хотел ограбить, унижить их, отплатить им за сидение с ляхами в осаде...

И вдруг появился юноша, смелый и прекрасный в своей отваге, и прикрикнул на одного из казаков властно. Его неожиданный порыв, осадивший первого казака, приковал к месту других. Было что-то царственное в этом юноше, во взгляде его.

Донской атаман вспомнил и происхождение от царской крови этого юноши. Он внук царицы Анастасии, жены Грозного, двоюродный племянник последнего прирожденного царя Федора Иоанновича. Так ужель ему, происходящему от царского корня, уступить престол другому?

И донской атаман смело начертал избранное имя на своей записи.

— Какое ты писание подал, атаман? — спросил князь Пожарский, принимая свиток.

— О природном царе Михаиле Федоровиче Романове, — твердо отвечал донец.

Велика была сила такой уверенности, и она решила дело.

Собор всколыхнулся сразу. На устах всех зазвучало имя того, кто являлся достойнейшим престола российского.

Были разосланы снова люди по всем городам с поручением узнать мнение народное о выборе собора. И всюду звучал один ответ: не хочет народ иного царя, опричь Михаила Романова!

В Неделю православия, 21 февраля 1613 года, было назначено последнее торжественное заседание в Успенском соборе. Все выборщики подали записи снова, и в каждой стояло одно имя: «Михаил Федорович Романов».

Тогда духовенство с боярами вышли на Красную площадь спросить москвичей об их согласии. Но не успели еще дойти до Лобного места, как собравшийся здесь народ загремел на всю площадь:

— Михаила Федоровича Романова хотим на царство!

И бурною волною прокатились эти слова по всей Москве, по всей Руси православной...

## 8

Зима в оном году стояла снежная и пушистая на редкость. На краю села Домнина, окруженного со всех сторон лесами, приютилась на реке Шаче обширная боярская усадьба. И само Домнино, и более пятидесяти семи поселков и дере-

вень, прилегавших к нему, и находившийся в нескольких верстах Ипатьевский монастырь — все это принадлежало сейчас боярыне-инокине Марфе Ивановне с сыном. Но самой боярыни не было сейчас в Домнине, она жила в Ипатьевском монастыре, под Костромой, вместе с любимцем сыном и молодою инокинею Ириною, младшей своей золовкой.

В далекой Москве осталась княгиня Черкасская. Остался там же и Иван Никитич. Семья заметно уменьшилась, но еще крепче сплотилась, заброшенная в костромскую глушь. В Москве шли выборы царя, волновалось и шумело людское море. А в Ипатьевский монастырь не долетали никакие вести из далекой столицы, ничто не смущало покоя обители. Молитвы, пост, службы церковные, задушевные семейные беседы да тихая скорбь по томившемуся в плену митрополиту Филарету заполняли все время двух инокинь и юноши Михаила.

Нередко наезжал Михаил в обществе своего верного дворецкого-дядьки Сергеича в Домнино, где староста Иван Сусанин занимал его охотою на зайцев да лисиц в обширных окрестных лесах. Миша гостил по несколько дней в своей усадьбе под присмотром двух заботливых стариков, а потом снова возвращался в обитель к матери, и сно-

ва текла, под звон колоколов, тихая монастырская жизнь.

Ныне с особенной радостью приехал Миша в усадьбу. Сусанин оповестил его несколько дней назад, что открыл новые следы зайцев. Предстоял веселый лов.

Миша с вечера улегся пораньше. В ночь поднялась метель.

Под свист ее спалось так хорошо и сладко, а наутро, едва проснувшись, юноша увидел, что слюдяные оконца запушены снегом. Увидел и вспомнил предстоящую потеху. Неужели же ей помешает метель?

— Сергеич! Давай терлик на курьем меху да валенки теплые! Небось в них никакой мороз не прошибет! — крикнул юноша, приподнимаясь на постели.

Но старый дворецкий, обычно ночевавший подле в сенях, на этот раз не откликнулся на зов.

Вместо того шла какая-то странная суматоха в сенях... Там будто спорили о чем-то жарко. Потом затихали снова и опять говорили приглушенно, очевидно с опаскою разбудить Мишу.

Он помедлил немного и снова крикнул:

— Сергеич!

Дверь распахнулась. Верный дядька стоял на пороге. На нем лица не было.

— Что случилось? Занемогла матушка? Гонца прислали?

— Дитятко мое! Боярчик мой! Здорова матушка... Не ей, а тебе грозит опасность... Тебя злодеи добиваются... Гибель тебе грозит! — тревожно сообщил Сергеич.

— Мне?! Какие злодеи? Откуда ты это узнал? Кто, кто они? — удивился Миша.

— Батюшка! Сам не ведаю... Богдашка Сабинин, зять Сусанина, сейчас из Деревенщины примчал... Сказывает, какие-то воровские люди, не то ляхи, не то разбойники, тебя добиваются... Ищут окрест Домнина. В Железноборовской обители ночевали нынче, всего в пятнадцати верстах отсель, и в Деревенщину отошли. Староста туды с вечера ехал на дровнях за силками для лисиц, ради потехи твоей милости... А они как набегут... Дочку свою Сусанин укрыл в тайнике, а Богдана к тебе прислал. Наказал просить твою милость скорейча на коня садиться да в Ипатьевскую обитель скакать к матушке, а он тем временем воровских ляхов в сторону от Домнина отведет... Одевайся, Христа ради, боярчик, скорейча... Да не в терлик боярский, а в простую одежду, благо полушубок да шапка найдутся у дворовых людей. А то могут узнать.

И Сергеич принялся помогать своему боярину одеваться.

— Впусти Богдана! Пускай расскажет все! — кратко приказал дворецкому Миша.

Вошел молодой крестьянин, женатый на дочери домнинского старосты, живший в дальнем поселке Деревенщине, и подтвердил все сказанное Сергеичем.

Какие-то люди встретили Сусанина в то время, когда он ехал к зятю за силками для ловли, и велели ему проводить их туда, где жил молодой боярин Романов.

— А рожи у них презверские, и промеж себя они все шушукуются да то ихнего короля, то какого-то царя молодого московского поминают. По-ляшски все говорят, не понять хорошо-то, а ровно про это! Тесть-то, не будь дурак, и привел их к моей избе. Велел жену спрятать да их покормить для времени. А сам меня сюда снарядил да велел тебе наказать, чтоб духом скакал в обитель по домнинской дороге, а сам он их туды заведет, куды ворон костей не заносит, потому хорошо видать, что не с добром пожаловали они сюда, — закончил свою речь Богдан Сабинин.

— И то, боярчик, мешкать нельзя! Не вынесет матушка-старица, коли что случится с тобою! — взмолился Сергеич.

Недолго колебался Миша. Уже ради матушки надо было спасаться, бежать от шайки злодеев. Ведь один он у нее, Миша. Без него что станет с родимою? Но Сусанин? Что сделают с ним злодеи?

Сердце юноши обливалось кровью, когда он думал об этом.

Но уже поздно было спасать Сусанина. Он находился среди воровского отряда. Один Бог только мог его спасти. А ему, Мише, там, в обители, о здравии раба Божия Ивана молебен отслужить надо. И может, отведет руки злодеев от верного слуги Господь!..

Получасом позже два всадника неслись во весь опор по домнинской дороге. Вот проскакали полулесок... завернули на костромскую дорогу и к вечеру уже стучали в ворота Ипатьевского монастыря.

И старица Марфа, уже чужавшая беду материнским сердцем, обняла сына.

Медленно, едва передвигая ноги, пробирался по глухому лесу небольшой отряд. Вьюга кружила немилосердно. Впереди бодро и спокойно шагал Сусанин. Не впервые приходилось ему бродить по этому лесу, где он добывал рябчиков и тетеревов по осени, зайцев и лисиц зимой.

Внимательно прислушиваясь к непонятной польской речи, старик успел, однако, ухватить отдельные слова. И из них догадался о решении поляков.

Шайка «воровских ляхов» искала Михаила, чтобы убить его. Это было ясно. Но почему и за что убить юного, никому не причинявшего зла боярчика — этого Сусанин понять не мог... В душе его с первой минуты встречи с отрядом уже назрело решение: отвести густым лесом, как можно дальше от Домнина, поляков, дать возможность молодому боярину ускакать под Кострому и завести поляков куда-нибудь подальше в глушь... А там хоть смерть... Лишь бы спасти Мишу... Лишь бы вернуть старице Марфе ее единственное дитя. Рад он на пытку и смерть пойти за своих господ...

Эта мысль так воодушевила старика, что он обернулся к медленно подвигавшимся за ним, уставшим до полусмерти ляхам.

— Поусердствуйте еще малость, господа паны! — сказал он с улыбкой. — Вот свернем за эти деревца и на дорогу выйдем. Тутотка, как есть, дорога быть должна.

Высокий, худой и посиневший от холода ротмистр, кое-как понимавший по-русски, закричал, коверкая слова:

— Песья кровь! Москаль проклятый! Он еще смеется! Застыли мы... Холод, выюга, а ему и горя мало!

И рукояткой сабли он со злобой ударил Сусанина по плечу.

Тот проглотил обиду и произнес как ни в чем не бывало:

— Полно, не гневайся, пан! Нешто я виноват, что метелицу Господь посылает? Говорю, к вечеру поспеем, ничего, что сбились с пути, к Домнину как раз выйдем.

— А ты не врешь? — подозрительно спросил шляхтич.

— Зачем врать? — усмехнулся Сусанин. — Нешто мне жизнь не дорога? Ишь, вас сколько, а я один, и сабли у вас, опять, имеются.

— Да! — самодовольно усмехнулся тот. — Ты прав, старик, с нами шутки плохи!

Опять потянулись поляки, тяжело вытаскивая ноги из снега, среди воющей вокруг метели. А дороги все не видать... Вон сгустились деревья в лесу... Зловеще каркнул ворон над головою... Стали медленно и бесшумно падать зимние сумерки...

Сусанин хорошо знал место. Еще пройти с полверсты, и поредеют деревья. Покажется у опушки село Испупово, это от Домнина более двадцати верст.

— Ходу, ходу, господа паны... Ужотка сейчас и у места будем! — бодро обратился к своим спутникам старик.

Поляки снова с бранью и угрозами запрыгали по сугробам.

И снова ротмистр крикнул:

— Клянусь, здесь нет и не будет дороги! Старик нас обманул!

— Так и есть, панове! — подхватил другой лях.

И вся шайка загалдела, зашумела, перекрикивая друг друга.

Ротмистр, лучше других понимающий и говоривший по-русски, обратился к Сусанину:

— Эй ты, москаль лукавый, остановись... Давай ответ, прямым ли путем ведешь ты нас к русскому царю?

Сусанин выронил посох от неожиданности.

На лице его отразилось самое искреннее изумление.

— К царю? К какому царю, господа паны? Никакого царя не знаю... не ведаю...

— Ишь, притворяется, старая лисица. Неведомо тебе, что твой боярин, Михайла Романов, в цари всею Русью избран? И ловок же ты лукавить, старик, — злобно расхохотался начальник отряда.

Только тут понял Сусанин, кого спас он от воровской шайки злодеев-ляхов. Не только боярчика любимого, не только господина и хозяина своего, но и властителя всего Московского государства, русского царя православного, спасителя, солнышко красное разоренной и обездоленной Руси!

Так вот кого избрали лучшие люди в Москве на царство! Его ненаглядного, его желанного боярчика Мишеньку! Точно солнечный луч скользнул по просветленному лицу старика и отразился в его глазах. Дрогнули захолодевшие губы. Трепещущей рукой снял он шапку, поднял глаза к небу и истово перекрестился несколько раз.

— Великий Боже! — произнес старик с благоговением. — Тебя благодарю, Творец Небесный, что сподобил меня отвести удар врагов от главы народного избранника!

Потом он медленно повернулся лицом к отряду:

— Обманул я вас, господа паны... Недаром почуял я, что на лихое дело позвали вы меня... Не найти вам царя московского... В надежной защите юный избранный батюшка государь... Делайте со мной что хотите, не видать вам Михаила Федоровича, на многие лета хранит его Господь!

Едва успел произнести это Сусанин, как поляки с дикими криками накинулись на него.

Взвились и скрестились с лязгом несколько сабель, еще не решаясь, однако, нанести удар.

Но тут, дрожа от ярости, крикнул пан ротмистр:

— Бейте его! Он завел нас, собака-москаль, на погибель!

И в тот же миг несколько сабель опустились на голову Сусанина.

Старик упал, обливаясь кровью, успев прошептать:

— Благодарю Тебя, Господи, что сподобил умереть во спасение моего царя...

## 9

День 13 марта выпал радостный и светлый на диво. Таявший снег сбегал быстрыми весенними ручьями, отливая всеми цветами радуги на раннем весеннем солнце. Весело чирикали воробьи на дорогах, радующиеся первому теплу. Гулькали голуби на монастырской колокольне...

И вот гулко ударил большой монастырский колокол, призывая к заутрене. Из всех келий темною вереницею потянулись монахини.

Еще с вечера в обитель приехали гонцы из города и оповестили старицу Марфу о том, что наутро к ней собирается великое посольство. А зачем и для какой цели, никто не знал.

Об этом-то и перешептывались по дороге к собору инокини.

Громче и чаще загудел колокол. Гул его разбудил Михаила Романова, сладко спавшего в своей обительской светлице.

«Что должно случиться нынче?»

Да... Сказывала матушка, что собирается к ним в обитель нынче посольство из Москвы... Может, о батюшке что сообщат. То-то была бы радость! Печально начинался день. Просил он вчера протопопа отслужить панихиду после обедни по невинно убиенном крестьянине Иване, положившем жизнь за своего молодого боярчика... Грустно было Мише. Вспоминался старый Сусанин, баловавший в детстве его, Мишу, и покойную сестру Таню... Ласковый, добрый старик... Охоты да ловы в милом Домнине вспомнились ему...

Через несколько дней после гибели Сусанина Богдан Сабинин, нашедший его мертвым в лесу, рассказал о смерти своего тестя Михаилу и его матери. Горько сокрушались о героически погибшем старике Романовы.

«За что? За что столько горя в жизни? Почему добивались его, Мишиной, гибели ляхи? За что погиб Сусанин, за что томится в плену батюшка любимый? Что сделал злого им его отец и он сам, Миша, что одного томят пленником, другого собирались погубить?» — спрашивал себя юноша. Потом мысли перешли на другое — на тяжелые времена, наступившие на Руси, разоренной после вражеского нашествия и внутренней смуты... И яркое мартовское солнышко не радовало больше... А соборный колокол ухал, точно вздыхал о чем-то.

Неожиданно и стремительно вошел в светлицу Сергеич.

— Вставай, сокол мой, боярчик, вставай скорее. Матушка-старица давно дожидается. Подошла несметная толпа к обители нашей... Во главе — духовенство с иконами и хоругвями... Тебя и матушку просит пожаловать посольство... Поспешай, боярчик... Кто знает, може, с хорошими вестями присланы они из Москвы...

Верный дядька торжественно вывел Михаила под руку из светлицы. Старица Марфа ждала в своей келье сына и, лишь только он появился, молча обняла его, глубоко заглянула в задумчивые глаза юноши и повела его к воротам монастыря...

От костромской заставы до самых ворот обители все было черно от народа. Впереди ярким пятном выделялось духовенство в парчовых ризах. Архиепископ Феодорит с тремя архимандритами, с троицким келарем Авраамием Палицыным и с протопопами шли впереди. Над головами их плыла чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Колыхались хоругви. Золотой рекой залило их солнце, червонным заревом играя на ризах икон, на золоте и парче облачений духовенства, на цветных полотнищах хоругвей.

Марфа с сыном во главе процессии монахинь вышла к посольству через главные ворота обители.

Архимандрит Дионисий приблизился к Михаилу и его матери... Толпа замерла в ожидании.

— Всяких чинов всякие люди, — задрожал среди установившейся разом тишины старческий голос архимандрита, — тебе, великому государю, бьем челом умилиться над остатком рода христианского... собрать воинство, принять под свою государеву паству, под крепкую высокую свою десницу... Всенародного слезного рыдания не презреть, по изволению Божию и по избранию всех чинов людей на Владимирском и на Московском государстве и на всех великих государствах Российского царствия государем и великим князем всея Руси быть. И пожаловать тебе, велико-

му государю, ехать на свой царский престол в Москву и подать нам благородством своим избаву от всех находивших на нас бед и скорбей.

Голос старца прервался на мгновение.

Но, встретив недоумевающий взор Михаила, обрел в себе новую силу архимандрит. И снова зазвучал его голос мощно и сильно, хорошо слышимый до последнего слова.

Теперь он просил Михаила не презрять просьбу народную и своим согласием вступить на престол московский, спасти разоренное полузагубленное государство.

— Господь умудрил люди Своя... Перстом Своим отметил Своего избранника... Сам умудрил, кого выбрать на царство, весь народ Свой наставил на том!... Ужли пойдешь против воли Господа, избранный Богом?

Последние слова особенно четко пронеслись и замерли в весеннем воздухе.

Михаил поднял голову. Так неожиданно быстро, так странно и жутко было для него это известие! Он, юноша, почти мальчик, тихо проживающий с матерью после всех перенесенных бедствий в этой глуши, — он избран всею землею Русскою в цари!

И посольство, и речи архимандрита Дионисия, и толпа народа — все кажется Михаилу

сном. Но дивное видение не исчезало... Почтенный старец Дионисий стоял перед ним.

— Согласись быть царем, спаси Русь православную от разрухи! — молил теперь чуть слышно старец.

Перед Михаилом пронеслась тяжелая картина гибели Руси, смена царей... Смута... Лихоление... Он сжал руку матери, взглянул в ее лицо...

О, каким ужасом наполнены глаза старицы! Сейчас она похожа на испуганную орлицу, готовую защищать от гибели своего единственного детеныша...

И при виде родного лица, искаженного страхом за участь сына, при виде нечеловеческих страданий сердце захолонуло в груди Михаила...

— Нет! Нет! Не могу, не хочу, не смею я быть царем московским!

И словно эхо, вторила ему старица Марфа... Видит Бог, не может она отдать юного сына на гибель, когда Русь разорена от смуты, когда самое тяжелое время сейчас в Московском государстве... Не справиться мальчику-царю... Погибнет он... Народ ненадежен... Свели Федора Годунова, свели Шуйского с престола, погубили, предали их... Нет, такой участи она, Марфа, не уготовит сыну! Нет на это ее благословения!

Силой безграничной материнской любви повело от этих слов.

С сокрушением слушало ее речи посольство... Таяла последняя надежда спасти воцарением законного государя гибнущую Русь.

— Господи, размягчи сердце старицы! — молил архимандрит Дионисий. — Умудри ее великой силою Своей!

Снова загудели колокола Ипатьевской обители.

«Во храме Божием должны смириться мысли о житейском», — решило посольство, и все двинулись в монастырский собор. Отслужили обедню, и с амвона была прочитана грамота об избрании всем народом юного Михаила Романова. И снова вслед за этим зазвучал голос архимандрита Дионисия под сводами храма.

— Весь народ избрал юного государя через указание Самого Господа. Так неужели отклонишься и сейчас, надежда Руси?

Михаил, всю обедню стоявший подле горячо молившейся матери, при этом восклицании как бы очнулся. Он — надежда Руси? О нем пишется в грамоте, что один он своим согласием может спасти Русь? А может, и на самом деле, пожертвовав собою, он своим согласием хоть отчасти поможет восстановлению Родины... Великий Боже! Неужели идти ему против воли Господа и народа?

Между тем архимандрита Дионисия заменил архиепископ Феодорит. Полилась мощная речь проповедника. В ней говорилось о горе народном, о надежде рухнувшей, о печали и отчаянии в случае отказа. И о пленном митрополите Филарете, томившемся в польском плену, упоминалось в ней... И о гнев Божием в случае отказа Господнего избранника... Последнее упоминание словно огнем опалило душу юного Михаила...

Горе, лихие времена — все переживет он на престоле без единого укора и слова ропота, если родимый батюшка будет подле наставлять его советами, помогать мудростью и опытом. Лишь бы выволить его из плена Литвы... Да, с таким советником дерзнет вступить он на трон московский!

Юноша выпрямился, поднял голову... Смелым огнем загорелись глаза...

Михаил повернул просветленное лицо к матери.

— Благослови, матушка! — произнес избранный царь.

Марфа подняла голову, отодвинула черную иноческую наметку от глаз, взглянула на сына... И не узнала его. Куда девалась недавняя робость? Куда исчезли страх и сомнения, смешанные с отчаянием? С лица этого полурейбенкаглянул на нее юный муж, готовый идти на подвиг

и жертву, которой требовал от него русский народ.

Марфа провела сына на середину храма, возложила руки на его голову и произнесла на всю церковь:

— Пути Господни неисповедимы. Да будет воля Его. Благословляю сына вступить на трон московский...

Народ упал на колени. Громче, торжественнее зазвонили колокола... Архиепископ подошел к юноше-государю и вручил ему царский посох. Начался благодарственный молебен. Михаил Федорович Романов считался с этой минуты московским царем.

На левом клиросе стояла инокиня Ирина. Находясь в толпе черниц с минуты вступления посольства в обитель, бывшая боярышня Настя внимала речам послов и ответам на них невестки и племянника.

Горячо молилась за обеднею прежняя Настя, молила Бога умудрить сердце юноши и наставить его мысли на правильный путь.

В ее сердце жило непоколебимое сознание, что дорогой ее Миша должен согласиться на просьбы народные. Она верила в то, что вымолила и она отчасти своими грешными молитвами этого юношу, которого поднимала на ноги вместе с его ма-

терью в долгие годы опалы и ради счастья которого принесла в жертву свою любовь, молодость и собственную долю. Вспоминалось то время, когда она, позабыв себя и свою личную жизнь, покрыв монашеским клобуком молодую голову, решила посвятить себя до могилы молитве за близких ей людей.

Одна только келейка была свидетельницей ее горячих слез и пламенных молитв. Счастья Мише, ненаглядному племяннику, счастья брату плененному, и невестке, и всем близким просила у Бога инокиня Ирина.

Давно спит в могиле князь Никита, горячо любимый ею и отвергнутый ради принесенного Богу обета... Еще раньше умерли братья в ссылке, погибла Танюша-голубушка, не перенесла смерти мужа...

— Только умудри его, Господи, только наставь согласиться! — молила молодая инокиня, и пот градом лился по ее лицу, и слезы капали на черные одежды. И когда прозвучал твердый и звонкий голос Михаила, возвещавший о его решении, она упала на колени, и облегченным стоном вырвалось из ее груди:

— Благодарю тебя, Господи! Кончились муки наши великие... Посетил Ты милостию Своею романовский род!

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Утром 11 июля 1613 года на высокой звоннице колокольни Ивана Великого гулко ударил колокол. Ему отозвались все колокола церквей московских, и пошел по Москве «малиновый перезвон», словно в Светлую Христову заутреню.

И толпы народа еще до восхода солнца затопили Красную площадь.

В Успенском первопрестольном соборе в это летнее утро совершалось венчание на царство. Между двух столбов был устроен «чертог», или «чертожное место». На нем был царский трон, обитый золотою парчою и украшенный самоцветными камнями.

Возле находилось место митрополичье. Справа — аналой с царским крестом, шапкою Мономаха, бармами, скипетром и державою.

На царском месте восседал юноша — «всею землею» избранный царь Михаил Федорович. Князь Димитрий Пожарский и князь Иван Черкасский торжественно привели сюда юного царя, поддерживая его под руки. Венчание на царство совершал митрополит Казанский Ефрем.

Хор прогремел многие лета царю. Служили молебн. Яркое солнце ударяло в стрельчатые окна

собора, заливая лучами золото, платно (одежду царя), драгоценный венец Мономахов и юное светлое лицо Михаила, принявшего на себя тяжелый подвиг царствования в это смутное время на Руси.

Митрополит Ефрем осенил царя крестом и призвал на избранника Божия Господню милость и благословение. Снова загремело многолетие хора, и в полном облачении юный государь вышел к народу, заполонившему площадь. Под громовые крики восторга, возвратясь в собор, юный царь обходил храм, поклоняясь праху своих предшественников, московских царей.

Завершилось коронование обедом в Грановитой палате. Многими царскими милостями ознаменовалось это торжество.

Князь Пожарский, которому так много обязана была Русь в тяжелое для государства время, был назван в бояре. Козьма Захарович Минин пожалован в дворянское достоинство.

Не забыл юный государь и других спасителей Руси. Всех награждал он щедрою рукою. И далекий домнинский подвиг героя-спасителя Ивана Сусанина не был забыт царем Михаилом. Зять варварски убитого народного героя Богдан Сабинин, с женою и детьми, со всем их потомством, был наделен землями и освобожден от всех податей и повинностей.

Но одна мысль не давала покоя юному царю. В далекой Литве томился в плену его отец, митрополит Ростовский. Война, объявленная Польше, продолжалась. И только через пять лет, после заключения перемирия с поляками в селе Деулине, все еще добивавшийся московского престола Владислав, польский король, вернул сыну-царю плененного отца.

Июньским утром возвращенный из плена митрополит Филарет увидел золотые купола родного города.

На реке Пресне его встречал молодой царь с боярами и духовенством. Множество народа было на берегу реки. Подъехала повозка с освобожденным из плена великим страдальцем. Михаил бросился к ней... Распахнулась дверца, и старец вышел. Прежде чем обняться, отец и сын опустились на колени, движимые одним и тем же чувством, и отдали друг другу земной поклон. Отец в этом земном поклоне приветствовал царя Руси, сын — мученика-отца, святителя...

Патриарший престол давно ожидал митрополита Филарета. Иерусалимский патриарх Феофан возвел государева отца в высший духовный сан.

Вновь избранный патриарх стал называться на Руси, подобно его сыну, Великим Государем

Московским и всея Руси и усердно помогал молодому царю в делах правления.

Тяжелые времена Смуты миновали, и Русь оправилась от разорения, окрепла понемногу под властью юноши-царя и умудренного житейским опытом старца-отца.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Часть первая</b>           |     |
| Невинно осужденные.....       | 5   |
| <b>Часть вторая</b>           |     |
| В опале .....                 | 95  |
| <b>Часть третья</b>           |     |
| Через тернии к престолу ..... | 167 |
| Заключение .....              | 248 |



---

**РЕЛИГИОЗНОЕ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ.**  
**ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ: (495) 689-15-54**

Формат 84x108/32 П л 8 Тираж 300 Печать офсетная Заказ № 3175.  
Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография», филиал «Чеховский Печатный Двор», 142300,  
Московская обл., г Чехов, ул Полиграфистов, д 1.

© «РУССКАЯ МИССИЯ» 115569, Москва, Каширское ш д 82, комната Правления 71

© Приход храма Святого Духа сошествия,  
издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского.  
129272, Москва, ул Советской Армии, 12, стр 1 и 2  
ИД № 03037 от 13 10 2000 г

**Лидия Чарская**  
**ЖЕЛАННЫЙ ЦАРЬ**

\* \* \*

**Литературная обработка** Владимир Зоберн

**Редактор** Олег Зоберн

**Художники** Галина Бочарова и Тарас Бочаров

**БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!**

Некоммерческий фонд содействия книгопечатанию  
«Русская миссия»

просит Вашей помощи в издании Православной литературы.

Пожертвования просим присылать:

Сбербанк России г. Москва  
р/с 40703810738060100331  
в филиале Царицынского ОСБ  
№ 7978/0981  
к/с 30101810400000000225  
ИНН 7737105745  
БИК 044525225

**Для воскресной школы приобретем  
или с благодарностью примем  
детскую и юношескую литературу XIX  
и доперестроечного периода XX века.**

**Возможен выезд на дом.**

**Тел. 8-(926)-156-47-14, 8-(926)-386-51-74.**

**В г. Москве, в Бибиреве, по благословению  
Святейшего Патриарха Алексия II строится новый  
большой храм во имя собора Московских святых,  
рассчитанный на несколько тысяч прихожан**

Храм крупных спонсоров не имеет. Мы обращаемся к простым русским людям, которым небезразличны судьбы Православия в нашем Отечестве. Если этот храм сегодня не очень нужен Вам, примите участие в его строительстве ради Ваших детей и внуков. Храмовладельцы хотели бы, чтобы он был построен на честные народные деньги.

**Желающие помочь в этом святом деле могут перечислить пожертвования по следующим реквизитам:**

**ИНН 7715130579, КПП 771501001**

Местная религиозная организация православный приход храма преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве, гор. Москвы,  
р/сч. 40703810500800022102

в ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" г. Москва,  
БИК 044525243, к/сч. 30101810000000000243.

В графе «назначение платежа» просим указать следующее:  
*Пожертвование на строительство храма во имя собора  
Московских святых в Бибиреве. Сумма .... НДС не облага-  
ется.*

С благодарностью примем **другие виды пожертвований**,  
в т.ч. **строительными материалами и продуктами**, по адресу:  
129272 Москва, ул. Советской Армии, д. 12, стр.1 и 2. Спросить  
старосту или настоятеля. Тел.: (095) 689-24-75, 689-23-09,  
689-32-05.

**E-mail: lazarevskoe@mail.ru**

Также можно присылать почтовые переводы по вышеуказанно-  
му адресу на имя Рыбко Ю.И. Имена всех жертвователей будут  
поминаться за Божественной Литургией.

**Приглашаем всех желающих посетить богослужения  
в храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве.**

Храм открыт ежедневно с 8<sup>00</sup> до 20<sup>00</sup>. Божественная Литургия со-  
вершается ежедневно в 8<sup>00</sup>, по двенадцатым и великим праздни-  
кам две Литургии: в 6<sup>30</sup> и 9<sup>30</sup>. Вечернее богослужение ежедневно в  
17<sup>00</sup>. В воскресенье вечером совершается вечерня с акафистом прп.  
Сергию Радонежскому.

**Адрес:** ул. Костромская, 7.

**Поезд:** м. Бибирево. Тел: (095) 689-24-75.

**Православное сестричество  
во имя святителя Игнатия Ставропольского,  
существующее по благословию Святейшего Патриарха  
Алексия II**

при Храме Святого Духа сошествия в Москве, приглашает воцерковленных девушек до 36 лет, желающих подготовить себя к монашеской жизни путем деятельного изучения творений Святых Отцов Православной Церкви. Проживая при храме и имея возможность ежедневно посещать Божественную Литургию, сестры несут послушания сначала на кухне, по уборке храма и территории, затем — в книгоиздательстве, книжной лавке, иконописной мастерской, воскресной школе, на клиросе и т.д. (сельхозработ и других тяжелых работ нет).

Предоставляется возможность избрать любого духовника или оставить прежнего.

**Можем принять проживающих в отдаленных регионах и странах СНГ.**

**Просьба предварительно позвонить или написать: 129272,  
Россия, г.Москва, ул. Советской Армии,  
д. 12, стр. 1 и 2. Настоятелю игумену Сергию.  
Телефоны: (495) 689-24-75; 8-926-535-62-08  
E-mail: lazarevskoe@mail.ru**

**Храму также требуются на работу воцерковленные женщины до 42 лет. Кухня, клирос, книжная лавка, уборка в храме, бухгалтерия, издательство (верстальщик, дизайнер, редактор, корректор, технич. редактор, наборщик). Стабильная зарплата от 5000 р. (6 дней в неделю по 9 рабочих часов); зарплата в издательстве от 5000 до 15000 р.; бесплатное жилье при храме, питание. Имеем возможность принять проживающих в отдаленных регионах.**

**Также требуются водители, рабочие строительных специальностей и работники на книжный склад (обязательно семейные).**

**Предварительно позвонить или написать:**

**129272, Россия, г.Москва,  
ул. Советской Армии, д. 12, стр. 1 и 2.  
Тел. 8-926-535-61-63, (495)689-24-75,  
(495)689-23-09, (495)689-32-05.**

**E-mail: lazarevskoe@mail.ru**



## МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА

сестринства во имя свт. Игнатия Ставропольского  
при храме Святого Духа сошествия  
на Лазаревском кладбище

Предлагаются творения Святых Отцов, жития святых, богослужебные книги, епархиальные издания, педагогическая литература, богословие, апологетика, эзгетика, книги по религиозной философии.

Имеются в продаже иконы, четки, восковые свечи, натуральный ладан, священнические облачения, церковная утварь, принадлежности для иконописи, пигменты, натуральная льняная олифа, альбомы по иконописи, лампадное масло (вазелиновое), и др.

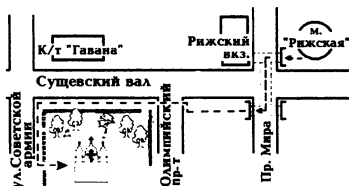
Магазин сотрудничает почти со всеми православными издательствами, поэтому цены умеренные. Для оптовых покупателей цены на большинство книг издательские, возможен обмен на продукты питания и стройматериалы.

Пишем иконы, иконостасы на заказ (работают выпускники иконописной школы Московской Духовной Академии и Семинарии). Изготавливаем иконные доски на заказ.

### Богатый выбор книг детских светских издательств.

**Часы работы:** с 11<sup>00</sup> до 20<sup>00</sup>,  
без выходных.

**Богослужение** в храме совершается по полному уставу ежедневно: вечером — в 17<sup>00</sup>, утром — в 9<sup>00</sup>, по воскресеньям и в дни больших праздников — две Литургии.



Тел.: (495) 689-24-75, 689-23-09. E-mail: lazarevskoe@mail.ru

Адрес: 129272, Москва, ул. Советской Армии, д. 12, стр. 1 и 2

Проезд: м. «Рижская», далее пешком или авт. 84 или тролл. 18, 42 до ост. «Кинотеатр "Гавана"»

Храм находится на территории детского парка «Фестивальный».

## КНИГИ НАШЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ МОЖНО КУПИТЬ

В г. Санкт-Петербурге: подворье Валаамского монастыря — Нарвский просп., 1/29; тел./факс (812) 252-77-00; Свято-Троицкая Сергиева пустынь — Санкт-Петербургское ш., 15; тел. (812) 130-27-91;

В г. Рязани: Иоанно-Богословский монастырь — Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Пошупово.

В республике Беларусь: г. Минск, Кафедральный собор в честь Святого Духа — ул. Кирилла и Мефодия, 3; тел. (017) 227-66-09; собор во имя свв. апп. Петра и Павла — ул. Раковская, 4; тел. (017) 226-74-75; Жировицкий Свято-Успенский монастырь — Гродненская обл., Слонимский р-н, пос. Жировицы, ул. Советская, 57; тел. (01562) 96-6-59, 96-3-91.

**Сканирование и обработка:**  
**AlexeiPetrov (Lion)**



Эта книга в увлекательной приключенческой форме повествует о событиях, предшествующих воцарению юного государя Михаила Романова.

В истории государства Российского был уникальный период, когда сложилась симфония верховной власти — духовной и светской, и юный царь Михаил правил державой вместе со своим отцом, Патриархом Филаретом.

Но до избрания на престол в 1613 году юного Михаила его семья вместе с Русью православной пережила тяжкий период Смутного времени.

С тех пор прошло без малого четыреста лет, но и сегодня, в новое смутное время, события, происходящие на нашей русской земле, созвучны тем, далеким...

*Владимир Зоберн*

